

НИКОЛАЙ ГАЙДУК

ЗЛАТОУСТ
И
ЗЛАТОУСТКА



ИСТОРИЯ НЕСБЫВШЕГОСЯ ГЕНИЯ

Николай Гайдук
Златоуст и Златоустка

«Гайдук Николай Викторович»

2015

УДК 821.161.1-3
ББК 84 (2 Рос=Рус)

Гайдук Н. В.

Златоуст и Златоустка / Н. В. Гайдук — «Гайдук Николай Викторович», 2015

ISBN 978-5-906101-34-1

«Златоуст и Златоустка» – новый роман известного русского писателя Николая Гайдуга. Роман полон загадок, приключений и головокружительных сюжетов из области магического реализма. Вечные темы добра и зла, долга, чести и любви, причудливым образом переплетаясь, образуют удивительную ткань повествования. Оригинальны и самобытны герои произведения: Старик-Черновик, Воррагам, Нишыстазила. Ну и, конечно, сам Златоуст, главный герой, человек гениальных возможностей, способный при помощи слова творить чудеса. Светлый дух его, надломленный в эпоху перемен, не сумел устоять перед сатанинскими соблазнами. И только любовь Златоустки смогла удержать Златоуста на самом краю, когда жизнь была уже почти проиграна. Несмотря на сказочность и фантазмагорию, которой наполнены страницы романа, – в нём легко читаются приметы новой эпохи, видны очертания современной России, слышны её беды, победы, разочарования и радости. Роман отличается ярким и оригинальным языком. По определению профессора В. П. Марина: «Писатель Николай Гайдук является блистательным художником русского слова, мастером, способным удивлять и восхищать в духе лучшей классической литературы, призванной глаголом жечь сердца людей, возвышать их помыслы и раздвигать горизонты...»

УДК 821.161.1-3
ББК 84 (2 Рос=Рус)

ISBN 978-5-906101-34-1

© Гайдук Н. В., 2015

© Гайдук Николай Викторович, 2015

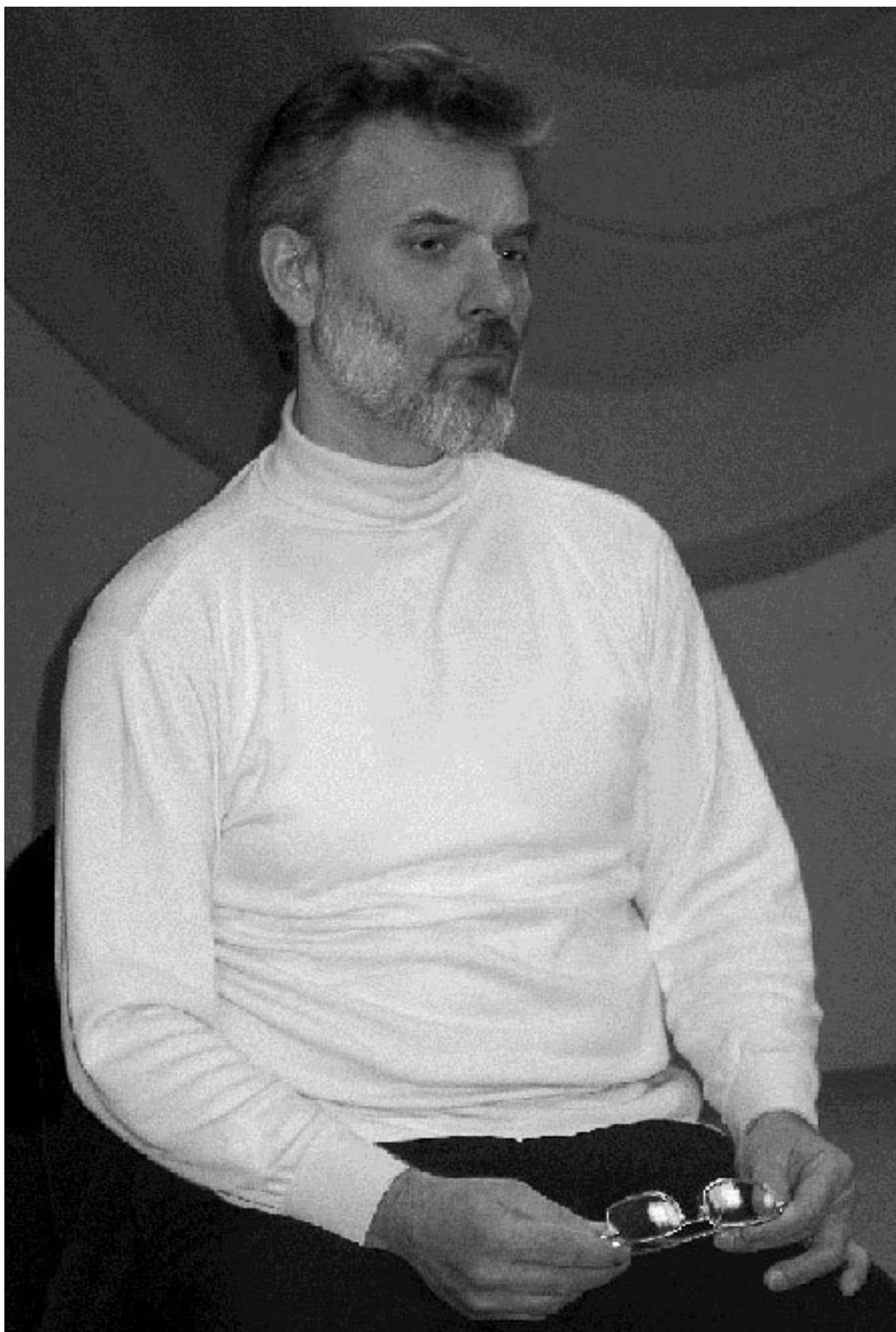
Содержание

Часть первая	9
Глава первая. Господин загадочный	10
Глава вторая. Преступление века	21
Глава третья. Любовь на бересте	27
Глава четвёртая. Похождения по Стольнограду	35
Глава пятая. Черновик и Музарина	42
Глава шестая. Великогроз	53
Глава седьмая. Цветок посреди пепелища	67
Глава восьмая. Босьяк и БОСИЗ	76
Глава девятая. Душа болит, а сердце плачет	84
Глава десятая. Дворец в избушке	89
Часть вторая	97
Глава первая. Подковать пегаса	98
Глава вторая. Солнце убитое, солнце бессмертное	105
Глава третья. Прости-прощай	111
Глава четвёртая. Земля горит желанием	121
Конец ознакомительного фрагмента.	122

Николай Гайдук Златоуст и Златоустка

© Н. В. Гайдук, 2015

* * *



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'N. Gayduk', with a stylized flourish at the end.

Время клоочет вулканом событий!
Был океан, а со временем пуст...
Звёзды, кумиры – всё сходит с орбиты,
Вечен один лишь народ-златоуст –
В россыпях песен и мыслей, и чувств!
Что я ищу? Всё на свете не ново.
Меч мой разломан, изрублен мой щит.
В муках и в поисках счастья земного
Скоро душа златоуста сгорит!
Тьма, торжествуя, идёт неустанно –
Впору дружины скликать по стране!
Что ж ты опять золотыми устами –
Только любовь проповедуешь мне?

Часть первая Однажды в юности



Глава первая. Господин загадочный

1

Житейское море всё чаще вскипало густыми туманами – погода потеплела, развесенилась. Туман по утрам охмурил берега и удивительным образом околдовывал окрестность. Вдруг исчезали платаны и пальмы, пропадали кипарисы и чинары. Голубовато-сиреневые береговые скалы и дома старинного города Лукоморска представлялись совершенно незнакомыми, диковинными, словно вышедшими из-под воды. И фигуры прохожих в тумане по улицам шарборились, как привидения, завернутые в простыни. Иногда «привидения» эти собирались около огромного рекламного щита или афиши, и тогда затевался приглушённый разговор о каком-то знаменитом авторе.

– Хоть бы распогодилось, а то не прилетит.

– Никуда не денется. У него такой шикарный самолёт – ни какое ненастье не испугает.

Знаменитого автора ждали с большим нетерпением и почитанием, доходящим до идолопоклонства. Невообразимая шумиха и подобострастная приборка накануне затевалась не только в гостиницах. «Весь город поставили на уши, – ехидничала одна из газет, ничуть не разделявшая восторг. – Все крыши в центре, все мостовые помыли с мылом, до блеска надраили с шампунем, а в бассейнах искрится шампанское...»

Конечно, это было злопахательство, но всё-таки город готовился, и довольно серьёзно готовился встретить долгожданного гостя. Афиши пестрели кругом, растяжки и всякие другие заглазки и зазывалки, на которых громоздились горы книг Златоуста.

– А когда будет встреча? А где? – переговаривались обожатели и почитатели. – У «Сыновей Бесцели?» А там не тесно?

– Да вы что? У этих сыновей в футбол можно играть!

Для человека непосвящённого необходимо сделать пояснение.

«Издательский дом господина Бестселлера», находящийся в Стольнограде, в последнее время широко распустил паутину своих филиалов. И в этом приморском городе открыли филиал, который назывался «Сыновья Бестселлера», однако в народе он больше был известен как «Сыновья Бесцели».

Апрель подходил к середине. Весеннее море иногда вставало на дыбы – шторм налетал на скалы, шарахался, как пьяный, шуршал и плевался, пытаясь протиснуться в Лукоморскую бухту. Затем погода вновь повеселела – разлучезарилась от края и до края горизонта. К берегам возвратились горлопастые чайки, всегда улетающие перед ненастьем. В бухту из глубин вернулась разнорыбца – радость многочисленных здешних рыбаков. В долинах просыпались виноградники, моргали изумрудными глазёнками-листочками. Цветы распускались подобием радуги – на диких скалах, на клумбах города. Весёлые дождики сорили золотые семена – в каждой капле солнце полыхало. Погода, неустойчивая об эту пору, то и дело портилась, капризничала восемь раз на дню. Бывало так, что утром синева небес и моря обнимались да целовались, представляясь единым целым, а в полдень откуда-то с севера опять нахрапом набегали облака и тучи. Ветер соловьём-разбойником насвистывал, тяжело толкал рекламные щиты, афиши раздербанивал...

Организаторы встречи – супервайзеры, так они себя теперь любили называть, – сурово смотрели на небо, тревожились, как бы непогодица все карты не попутала. Однако же Бог милостив: погодка в день прилёта была хрустальная, воздух аж позванивал, промытый первой полночной грозой, которая при помощи громадной колотушки прибила на море все высокие

волны и заровняла даже мелкие неровности и шероховатости. И почему-то все чайки в округе притихли; обычно горластые, наглые, они в тот вечер будто все разом проглотили языки. И что уж совсем удивительно – чайки слетелись именно туда, где люди затевали помпезный праздник, кругом которого всегда на дармовщинку можно пожить.

2

Весеннее солнце, теряя накал, с величавой неспешностью погружалось в далёкое море – будто стелило красную ковровую дорожку для гостей со всех окрестных волостей.

В назначенное время к дому «Сыновья Бесцели» стали подкатывать автомобили разных цветов и марок: «Мерседесы», «Роллс-ройсы» и прочие прелести новой эпохи...

Двухэтажное импозантное здание «сыновей», находящееся в центре, отгрохали недавно, а вот архитектуру и убранство замаскировали под старину – с причудами, с крендебобелем. Здание большое, да только и народу собралось – не протолпишься: обожатели, почитатели, поклонники, фанаты, представители администрации города...

Расфуфыренная публика ёрзала от нетерпения, ладони потирала, слюну глотала. И вдруг – в самую последнюю минуту – по бархатным рядам, по царской ложе, мерцающей сусальным золотом вверху, по оркестровой берлоге, наполненной скрипками, валторнами и гобоями, – повсюду прокатился робкий ропот:

– Говорят, что не будет.

– Как так? Вы что? А самолёт?..

– А на самолёте прилетел, говорят, представитель...

И вслед за этим произошёл такой конфуз, который долго потом не могли объяснить.

Сцена в издательском доме сработана под старину – деревянный эшафот с топорами в чурках по бокам. И вдруг на этой сцене появился – точно с неба свалился – какой-то черномазый тип, который минутами раньше сказал кому надо, что он якобы является полномочным представителем Златоуста. И никто не обратил внимания на то, что этот странный представитель не всегда наступает на пол – иногда как будто по воздуху шагает. И никто, как позже выяснилось, ни на секунду не усомнился в этом представителе, хотя он выглядел довольно странно, вычурно. Правда, в этом приморском городе давненько уже не удивлялись не только людям странно одетым, но даже странно раздетым; отдыхающие иногда прямо в плавках с пляжа в магазин или в кафе могли завалиться. Кроме того, приморский город с недавних пор жил карнавалами, тут постоянно бродили цыгане, гастролировал цирк шапито, киношники в этих местах любили снимать эпизоды с морской экзотикой. В общем, было здесь немало рязанных и никого это не удивляло. Однако этот – из ряда вон...

Представитель Златоуста был похож на старика-эфиопа и в то же время напоминал средневекового рыцаря в чёрном плаще, нао – величиной с карабин.

Остановившись посредине сцены, сработанной под эшафот, представитель слегка поклонился огромному залу.

– Господа и товарищи! – Это был угрюмый голос человека перед казнью. – Я должен извиниться...

Публика зашевелилась, заездила в тёмно-красных гнёздах бархатных кресел. Телеоператоры и журналисты неодобрительно загудели, точно в зал ворвался пчелиный рой. Кто-то, словно ужаленный, гаркнул с галёрки:

– Чёрт знает что! И вообще... кто вы такой?

Поправляя чёрный плащ средневекового рыцаря, представитель усмехнулся в бороду.

– А вы, простите, древнегреческим владеете? Нет? Ну, и ладно, с кем не бывает. Я – эфиоп. По древнегречески это буквально: «Человек с обожжённым на солнце лицом». Только солнце было необычное, вот такая штука, господа. Солнце русской поэзии...

В зале возникло замешательство, потом кто-то крикнул:

– А как эфиопа прикажете звать-величать? Пожимая плечами, темнокожий спокойно сказал:

– Ну, например, моя фамилия – Белинский. Вас это устроит?

– Вполне. Хотя Чернышевский вам больше к лицу. – По залу прокатился смешок. – Ну, расскажите почтенной публике, почему произошёл такой конфуз? Где ваш обещанный автор?

Белинский покашлял в кулак и неожиданно брякнул:

– Муму непостижимо, где он есть! Я сам хотел бы видеть Златоуста! В глаза посмотреть да спросить, как он докатился до такого...

Разноголосица по залу пронеслась, народ возмутился:

– Да какой же вы представитель, если не видите автора? Вопросов было много, но старик-эфиоп отлично владел ситуацией – не собьёшь с панталыку. Он отвечал толково, обстоятельно:

– Дело в том, что у Златоуста не так давно появилась молоденькая Златоустка, особа сногшибательной красоты, в которой он души не чаёт, которую считает своей новой и на веки вечные единственной музой. И всё бы хорошо, да вот беда. Эта жена-красавица, на которую он записал всё движимое и недвижимое, вдруг выкинула фортель – сбежала от него. Причём сбежала самым беспардонным образом – с каким-то офицером. Представляете?

– Да-да! – насмешливо крикнули. – Она сбежала, говорят, то ли с поручиком Лермонтовым, то ли с Дантесом.

Представитель огорчённо посмотрел в потёмки зала и покачал головой.

– Вот вам первая жертва школьной реформы! – нравоучительно проскрипел эфиоп, костлявым пальцем тыча в сторону сплетника. – Вы сами-то хоть понимаете, что за бред несёте?

Народ расхохотался, а жертва школьной реформы обиделась.

– Это вы, милейший, бред несёте! Вы тут в кино снимаетесь? Или в цирке работаете? Ну, так ступайте, на арене будете людей смешить.

Нисколько не обидевшись, Белинский собрался уходить, но публика была уже заинтригована. Публика зашикала на жертву школьной реформы и попросила представителя ещё что-нибудь рассказать о легендарном Златоусте.

Старик охотно согласился и продолжил печальную повесть о том, как Златоустка сбежала от Златоуста и он теперь ищет её, лбом колотится по разным городам и весям.

– Он теперь мечется, как рыба на икроте, – рассказывал старик, неплохой, как видно, краснойбай. – Он теперь как Фигаро – фи́га вам здесь, фи́га вам там... – Довольный каламбуром, старик захохотал, сверкая своим удивительным зубом, похожим на перо от золотого Parkera. – Да, да, этот Фигаро за короткое время успел на своём персональном ковре-самолёте облететь половину земного шара. Побывал в Туманном Альбионе, в Америке и т. д., и т. п. И вдруг ему стало известно: следы Златоустки замечены в городе Святого Луки. В Лукоморске, то бишь. Вот почему он сюда собрался. Ну, а потом – не сложилось. Не зарифмовалось, так сказать. Он в другое место полетел. Ищет свою зазнобу. А вы как думали? Шерше ля фам. Муж и жена одна сатана. Днём поссорились, а ночью помирились. – Чернокожий помолчал и вдруг с сожалением начал сам себе возражать: – Хорошо, если так. А ведь может быть и по-другому. Бабёнка у него – красавица. Такую штучку запросто могут умыкнуть. В подарок персидскому шаху, к примеру. Или хуже того – для дома творчества.

– Для борделя, вы хотите сказать? – выкрикнули из зала. Темнокожий Белинский согласно покачал головой.

– А у нас теперь всё творчество – бордель. Ничего святого – ни Луки, ни Музы. А то ли дело было при старой власти. Житейское море было прозрачным. Все маяки горели чистым золотом.

* * *

Великое это Житейское море, – увлечённо стал рассказывать старик, – постоянно меняет свои очертания, меняет глубину, рисунок берегов, жизнеутверждающее пламя маяков иногда меняет место жительства, но никогда это море не пересыхало и не пересохнет, из века в век наполняемое стихийными слезами горя и слезами самой светлой радости...

Давным-давно когда-то на благословенных этих берегах появился город Лукоморск. Зазвонистое, сердцу милое название этого древнего города восходило к сказкам о Лукоморье, но это лишь половина седого предания. А другая половина утверждала: город Лукоморск – это город Святого Луки, который был в когорте семидесяти преданных апостолов Христа. Будучи автором одного из Евангелий, а так же первым иконописцем, этот святой, согласно преданию, заложил краеугольный камень первого здания на берегу Житейского моря. Так это было или не так – теперь не проверишь; во время Гражданской войны многие архивы уничтожил огонь.

Город Святого Луки до конца XX столетия и в самом деле отличался святостью – это было видно по архитектуре, по одеждам людей, по выражению лица и поведению, привычкам, традициям. До Гражданской войны, до свержения старой власти, город жил размеренно, тихо и скромно. Вдоль берега стояли пансионаты, оздоровительные детские лагеря. Но самая, пожалуй, главная достопримечательность – Дом творчества, куда мечтал попасть всякий мало-мальски оперившийся художник, композитор, поэт и писатель. А после Гражданской войны, после победы Властимира Нечестивцева, всё тут полетело вверх тормашками. В Доме творчества одно время даже хотели открыть дом терпимости, проще говоря, бордель. Слава богу, не открыли и на том спасибо. И всё-таки грустно, обидно, когда вспоминаешь, как хорошо тут было при старой власти...

Вот об этом представитель Златоуста закатил красноречивый и пространный монолог, который, между прочим, кое-кому пришёлся по душе – в зале послышались аплодисменты. Однако не согласных оказалось больше.

– Давайте без политики! – прикрикнул кто-то. – Надоело!

– Хорошо, как скажете, – охотно согласился черномазый и переключился на вопросы литературы, культуры.

Слово за слово, и представители прессы и этот странный представитель Златоуста нашли общий язык, атмосфера в зале потеплела. Но – ненадолго.

– Где Златоуст? И почему он постоянно прячется? – наседали справа и нажимали слева. – Может, он какой уродец? А? Стесняется открыть лицо народу? Или, может быть...

– Да ничего не может быть! – вдруг заявил старик и шандарахнул по сцене прикладом золотого пера величиной с карабин. – Никакого Златоуста не было и нету! Что вы как дети, ей-богу? Неужели не ясно? Всё это реклама. Мистификация.

Это было как гром среди ясного неба. Огромный зал затих и обалдело посмотрел на представителя, как на больного, сбежавшего из дурдома.

– Мистификация? – возмутились сразу несколько нестройных голосов. – Простите, но это...

– Нет, это вы простите! – перебил старик, раззадорено сверкая глазами. – Ещё Платон когда-то говорил: «Поэт, если только он хочет быть настоящим поэтом, должен творить мифы, а не рассуждения». А мы всё рассуждаем. И рассуждаем, заметьте, зачастую за рюмкой. И при этом, заметьте, мы уже почти разучились слушать старых людей. Мы, дескать, сами с усами. А если вы прислушаетесь к старику, так он вам скажет вот что: вы ещё сто раз придёте повстречаться с этим великим, нетленным, незабвенным Златоустом – и никакого Златоуста не увидите. Потому что нет его в природе. Бороду даю на отсечение.

В тишине большого зала кто-то громко икнул. И опять со всех сторон зашумели:

– Вздор. А как же книги? Он столько уже понаписал...

– В том-то и дело! – Старик широко ухмыльнулся, демонстрируя свой удивительный зуб, похожий на перо от золотого Parkera. – Не слишком ли много один человек накатал?

– Что вы хотите сказать?

– А то! Десять человек сидят в подполье где-нибудь, кропают всякую галиматью и печатают под псевдонимом.

И опять в огромном зале будто шумовая граната разорвалась.

– Не может быть! Да как же так?

– Очень просто, – продолжал Белинский. – По нашим диким временам – не удивительно. Деньги есть – возьми, найми себе литературного негра и пускай он, собака, сидит на цепи, вспоминает чудное мгновенье. Да, да!.. Что говорить про наших графоманов, если даже про Гомера и Сократа ходят слухи насчёт коллективного творчества. Если даже сам Вильям, сиятельный Шекспир не брезговал литературными неграми. Или взять Козьму Пруткова – фантастический образ графомана всех времён и народов. Образ, гениально созданный Толстым и братьями Жемчужниковыми.

– Толстой? – не понял кто-то. – Это который? Лёва, что ли?

– Лёва! – передразнил старик с издёвкой. – Что за панибратство, чтобы не сказать амигошество! Даже я так его не называл, хотя мы с ним «Войну и мир» писали...

– Чего-чего? – В зале зашумели, потешаясь. – Что вы писали? Как вы сказали?

– Я говорю, Лев Николаевич такой ерундой заниматься не стал бы. Это Алексей Толстой. «Колокольчики мои, цветики степные! Что глядите на меня, тёмно-голубые?..» – Старик сокрушённо вздохнул и негромко заметил: – А литературу, господа, надо бы знать, если мы решили ползти из грязи в князи...

– Ну, это уже хамство! Хватит! – возмутился кто-то из чиновников на первом ряду. – Что за безобразия?

Людское море в зале забушевало. Назревал скандал, а может быть, и драка: тут собрались не только поклонники, но и противники издательской политики «Сыновей Бесцели».

И в эту минуту за кулисами появился рыжебородый верзила в элегантном костюме. Он прошёл на сцену и вежливо, но крепко взял представителя под локоток, наклонился и что-то шепнул на ухо.

– Всегда к вашим услугам, – покорно пробормотал представитель и покинул сцену-эшафот. (И опять никто не обратил внимания на то, что старик не всегда наступает на пол – иногда будто шагает по воздуху).

Они пошли по коридору, свернули в какой-то полутёмный закуток, заваленный декорациями. Внезапно остановившись, рыжебородый верзила вдруг достал зловеще замерцавшие наручники.

– Давайте мы сделаем так, – предложил он, ухмыляясь, – вы сейчас примерите браслеты, и мы выйдем чёрным ходом, чтобы людей не смущать. Вы не против, дедушка?

Не говоря ни слова, дедушка покорно покачал кудрявой тёмно-серой головой, словно обсыпанной пеплом.

А через минуту-другую здоровенный рыжий парень будто закимарил в полутёмном пыльном закутке, стальными браслетами прикованный к пожарной лестнице. Он даже сам не понял, как это случилось – точно под гипнозом...

3

Чернильно-прохладная вечерняя мгла наливалась будто в чернильницы – в глубокие проёмы между домами, деревьями. Первые огни автомобилей и зажжённых фонарей рассыпались как золотистые многоточия...

Представитель бодро шагал по улице, изредка оглядывался. Чёрный плащ средневекового рыцаря и золотое перо величиной с карабина – весь этот странный антураж куда-то пропал, и старик теперь выглядел обыкновенным прохожим.

На пути старика замаячил какой-то памятник.

– Солнце моё! Солнце русской поэзии! – загоревал представитель, обращаясь к памятнику. – Я учил его, но я учил не этому! Бороду даю на отсечение!

Заметив какую-то серую тень за деревьями около памятника, представитель сначала затихарился, а затем рысцою припустил. И тот, кто преследовал, тоже нагнал, уже не особо стараясь скрытничать. А надо сказать, что старик этот был только с виду старый, а на самом-то деле такой быстроногий, такой энергичный – семерых молодых заматает. Заскакывая в тёмные дворы, ныряя в подворотни, ловко помотавшись по улицам и переулкам, этот милый дедушка запарил молодых преследователей, которых было двое или трое.

– Упустили! – услышал он перебранку удаляющихся людей. – Рыжий! Как ты оплошал? Старику несчастному не мог надеть браслеты! Теперь полковник шкуру спустит на портянки. . .

Опасаясь, как бы эти догоняльцы не проследили за ним, старик ещё немного побродил по улочкам и оказался на берегу сонной бухты. Постоял, прислушиваясь. Где-то гремела музыка, цветные фейерверки взлетали в небо, волшебными рыбами на волнах отражались. Бухта Святого Луки – насколько глаз хватало – почти безмятежная, широко и густо засеянная звёздами. И только в скалах там и тут виднелись дыры – прямое попадание снарядов Гражданской войны. (Необыкновенные глаза старика в темноте видели так же, как днём). В кустах неподалёку затрепало и старик заметил голую парочку, страстно вздыхающую, сверкающую голыми частями организма. Сердито сплюнув, он пошёл на пирс, где остро пахло разлитым йодом. На волнах покачивался тёмный силуэт пиратской бригантин, не так давно причалившей.

С чёрного борта сошёл моряк и что-то зашептал на ухо старику.

– Точно? Там? – взволнованно переспросил представитель и, получив подтверждение, протянул моряку золотые монеты.

И после этого старик поторопился пойти в гостиницу, находящуюся на гранитном возвышении над бухтой Святого Луки.

Странно было то, что этот черномазый представитель в гостиницу «Лукоморскую» не вселялся и, тем не менее, дежурная спокойно отдала ему ключ от номера – самые лучшие апартаменты.

4

Гостиница «Лукоморская» располагалась в бывшем доме творчества, в котором после Гражданской войны хотели открыть бордель, но открыли всё-таки гостиницу. (Хотя народ упорно поговаривал, что бордель тут имеется, только подпольный).

Хозяйничала здесь госпожа Катрина Василюкина. В смутную пору Гражданской войны, рассказывают, эта забабёха отсиделась за морями-океанами, а впоследствии причухала сюда на корабле. За границей она изменилась – до неузнаваемости. Силиконовые губы – крупнее коровьих, силиконовая грудь – холмогоры до подбородка. Смекалистая, с творческой жилкой, Катрина Кирияновна широко развернулась в бывшем доме творчества. В коридорах и в кабинетах, где раньше обретались небожители современной литературы и живописи, произошли потрясающие метаморфозы. На стенах появились такие репродукции, как «Маха обнажённая» Франсиско Гойи – беззастенчивая бестия лежала в золочёной раме. «Обнажённая» Ренуара толстым задом едва не уселась на подоконник. Пышная «Красавица» Кустодиева свесила крепкие ляжки через багет.

Разговоры о том, что в гостинице существует подпольный бордель, имели под собою основание. Хозяйка промышляла этим делом, весьма доходным. Бандерша, как её называли,

разбиралась в тонкостях любви. Она понимала: могут быть мужчины просто голодные, как собаки, не разборчивые, жадно хватающие куски горячего бабьего мяса, а могут быть такие великие гурманы, которым подавай царицу Шахерезаду.

И вот как раз одну такую штучку под покровом темноты полчаса назад привезли контрабандисты, торговцы живым товаром. Катрина Кирьяновна только что сходила в подвал, в потайную комнату, где отсыпалась куколка, вдоволь нареветшись от того, что ей сообщили, где она находится и чем ей теперь предстоит заниматься. (Куколку эту привезли под наркозом, как это обычно делают контрабандисты, во избежание хлопот с живым товаром).

Выходя из подвала, хозяйка гостиницы вздрогнула: возле окна стоял «бугай» в милицейской форме, стоял к ней спиной, но Катрина узнала. Глубоко вдыхая и выдыхая, чтобы одолеть мандраж, хозяйка задержалась перед овальным зеркальным озером, в котором она отражалась как неотразимая краса. Одёрнув багровое платье с богатыми блёстками, хозяйка стала театрально выфигуривать:

– Батюшки! Кого я вижу? – Василискина распахнула руки, отяжелённые гроздьями колец. – Здравствуйте, наш драгоценный! Ах, как я рада, как я рада...

Драгоценный круто повернулся, сверкая отрядом надраенных пуговиц и позолотой погон. Это был мордастый полковник Простован, начальник милиции города. На Гражданской войне Простован многократно был ранен, получил в награду орден с брильянтовой соплёй, так среди военных окрестили награду, где вместо брильянта зачастую болталась стекляшка. И тогда же, после очередного ранения, полковник получил второе своё имя – Бычий Глаз. (Правда, ходили слухи, что это женушка глаз ему выдрала, когда он побеждал её на любовном фронте).

Бандерша побаивалась этого быка, способного за ночь перетряхнуть весь гарем и при этом быть чем-то или кем-то недовольным. А сегодня, когда в подвале находилась контрабандная куколка, бандерша боялась ещё сильнее. Чего он припёрся? Он редко приходит сюда. И приходит только по служебной надобности.

Катрина Кирьяновна принялась заигрывать – силиконовой улыбкой завлекать, крупным задом вилять. Но полковник был настроен по-деловому.

– Посмотри-ка вот на эту фотографию! – Бычий Глаз запыхтел, засопел кривым, загогулистым носом, поломанным в Гражданскую войну. – Проживает? Нет?

У Катрины отлегло от сердца. Она пошла на вахту – на рецепшен, как тут любили говорить. Показала карточку.

– Только что вселился! – доложила горничная, называя номер люкса. – У них была заявка. Броня от киногруппы.

– Броня крепка и танки наши быстры! – зарычал Бычий Глаз, наклоняясь к хозяйке. – Слушай сюда! Постучишь к нему, скажешь, так, мол, и так.

– Ой, нет, нет! – хозяйка замахала руками, затрясла подбородочной грыжей, под которой колыхалась золотая цепь – собаку можно держать на привязи. – А вдруг вы начнёте стрелять?.. А я барышня нервная...

Дико выкругляя одинокий глаз, полковник пообещал:

– Я выстрелю. Ты выступишь.

Изображая скромницу, Катрина Кирьяновна поджала силиконовые губы, опустила очи долу и обречённо поплелась по лестнице.

Они остановились около нужного номера. Полковник прислушался. По коридору пролетела муха. А за дверью тихо-тихо, но потом почудилась какая-то колготня и даже голоса. Полковник подал знак и хозяйка, делая испуганное лицо, постучала, слащаво-театрально говоря, кто она такая и что, мол, надо срочно кое-что повыспросить у постояльца.

Никто не ответил. И тогда сердитый Бычий Глаз ключом, который держал наизготовку, резко открыл английский замок и ладонью ударил по выключателю.

Яркий свет озарил пустоту дорогого номера. Нетронутая кровать дразнила белоснежным покрывалом. Пылинка вихлялась в воздухе – напротив окна.

Бычий Глаз в сопровождении хозяйки осмотрел ещё три номера люкс, затем проверил остальные, рядовые номера, и, наливаясь угрюмостью от неудачи, спустился на «рецепшен». Постоял, о чём-то размышляя, покосился туда, где стойка сверкала гирляндами стаканов, рюмок и пузырей с вином и водкой, с коньячком и ромом.

И хозяйка догадалась – угостила за счёт заведения. Полковник не стал кочевряжиться. Изображая отставного интеллигента, он отставил-оттопырил мизинец с грязным ногтем и так остервенело раззявил рот – стопарик вместе с водкой чуть не проглотил. Постоял, веселея глазами, послушал, как водочка, стерва, босиком по душе побежала, потопталась по сердцу и в брюхо упала, свернулась там котёнком и замурлыкала. И полковник замурлыкал, заулыбался, вальяжно-хамовато похлопал Катрину по слоновьему задку, обтянутому красно-лиловым бархатом, которого столько пошло на пошивку – занавес в театре можно сделать.

Поправляя фуражку, Бычий Глаз широким шагом вышел на крыльцо.

Навстречу дул приятный бриз, Житейское море где-то под берегом перебирало многочисленные камешки, перетирало в мокрых жерновах. Изредка плаксиво вскрикивали чайки, напоминая полковнику страстные постельные вопли, какие он умел выдавливать из девиц, которых ему время от времени поставляла хозяйка гостиницы – поставляла прямо в кабинет начальника милиции. Это у них называлось – допрос с пристрастием.

Полковник сел в казённую машину, ждавшую неподалёку.

– Погнали, – задумчиво приказал.

Дорога шла вдоль моря – мелькали кипарисы и платаны, освещённые фонарями, потом на повороте, словно светофоры загорелись, – красные какие-то, огненно-красные цветы, названия которых полковник не знал. Человек он был нездешний; в Гражданскую войну храбро воевал в этих краях, командовал отборными головорезами, которые как раз и принесли победу на штыках. Ну, а после войны уезжать на родину полковник не захотел; не напрасно же он воевал за это местечко под солнцем. Тем более, что место не чужое и не случайное – в этой земле упокоились косточки его далёких предков...

Бычий Глаз отвлёкся от раздумий, потому что машину перестало потряхивать.

– Товарищ полковник, – заговорил водитель, затормозив у развилки. – А дальше-то куда?

– Я же сказал! Оглух? – зарычал начальник, хотя ни словом не обмолвился на этот счёт. –

В издательский дом! Надо ещё опросить кое-кого.

5

Прекрасная куколка, которую контрабандисты под покровом темноты привезли в гостиничный бордель – это была драгоценная внучка темнокожего старика, выдававшего себя за представителя Златоуста. (Или на самом деле он был таковым). И вот эта внучка невероятным каким-то образом пропала из-под замков потайного подвала. Мало того – эта внучка со стариком расположились в том самом номере, который полковник Простован только что проверил.

Полковник одноглазый, ему простительно, что не заметил, но куда смотрела госпожа Василюкина? Почему никто из них не заметил ни старика, ни внучку? Загадка. А между тем, они сидели в номере и никуда не думали сбегать, когда замок противно заскрежетал, открываясь. За столом, где стоял жирандоль – большой фигурный подсвечник на пять свечей – старик и внучка только затихли на минуту, лукаво переглядываясь и как бы говоря друг другу: подождём, не будем мешать.

Дверь опять закрылась на замок, шаги, шурша по коридору, удалились.

– Ах, Музарина, Музочка! – Старик едва не всхлипнул. – И чего я только не передумал, разыскивая тебя...

– Всё хорошо, – успокоила внучка. – Давай отдыхать.

– Ты ложись, а мне ещё надо поработать.

В номере было тепло, но старик зачем-то развёл огонь в камине. Не включая света, чтобы не привлекать внимания, представитель взялся разбирать бумаги, исписанные симпатическими чернилами – такие чернила проявляются при нагревании.

Поминутно что-то перечитывая, старик время от времени глубоко задумывался, глядя в огонь.

– В юности он подавал надежды, – с грустью проговорил старик, глядя в сторону заснувшей Музарины. – Я тогда, помню, хотел быть не только помощником. Я мечтал быть даже его биографом. Вот почему так много тут писанины, которая касается юных дней Златоуста. Правда, никаким он Златоустом не был в те поры. Так себе, обыкновенный Ваня. И, может, лучше было бы ему таковым и оставаться? А? Женился бы на простой бабёнке, которая никогда бы не сбежала с поручиком Лермонтовым. Эх, ну да что теперь об том говорить. Спи, Музариночка, не слушай старика. Я больше не буду миндальничать.

Вздыхая, он взялся уничтожать страницы объёмной рукописи. Измятые листы, исписанные с двух сторон, бросал угрюмо, резко, словно боясь передумать. А иногда его рука замирала, подрагивая. И снова да ладом он перечитывал целые главы, посвящённые тому, что в юности приключилось с этим человеком, никому не известным тогда, но подававшим большие надежды; из него должен был вырасти блистательный гений.

– А где и когда новый гений родится – одному только Богу известно, – забормотал старик. – А что известно одному – известно будет многим. Я помню, как в небесной канцелярии один знакомый канцлер, у которого всегда язык чесался, – однажды рассекретил: скоро, дескать, будет назначение. А я тогда лежал себе на облаке, отдыхал, чистил своё золотое перо. Я спервоначала не поверил канцлеру. А он возьми да покажи мне карту земного шара, где отмечено место рождения гения. Только место отмечено было симпатическими чернилами – эти чернила канцлеры используют для тайнописи. И меня научили.

* * *

В небесной канцелярии он был известен под несколькими именами, в разных картотеках значился по-разному: Старик-Черновик, Чернолик, Абра-Кадабрыч, Абрам Арапыч, Азбуковед Азбуковедыч, ну и так далее. Откровенно говоря, ему, гражданину мира, земному ски-тальцу и небесному долгожителю было, в общем-то, всё равно, где работать и с кем работать, лишь бы только человек был одарённый. И всё-таки он втайне обрадовался, когда увидел место, обозначенное на карте, – заснеженный, затаёженный уголок Великой Руси.

Человеку свойственны слабости и тут Старик-Черновик не исключение. Владея десятками языков и наречий, отлично зная эсперанто и многое другое, что доступно только высоколобым профессорам лингвистики, этот старик питал глубокую симпатию к могучему и великому русскому языку. Старик-Черновик был уверен, что русский язык – язык богов. Когда-то в юности, мечтая быть златоустом, он при помощи русского языка творил чудеса, добиваясь такого звучания слова, когда оно вдруг становилось вещественным. С помощью слова «огонь», например, он зажигал свечу, костёр. С помощью слов «хлеб» и «вода» мог питаться несколько суток. Обладая незаурядным даром, он в юности приблизился к тому изобретению, которое зовётся эликсиром бессмертия, и вот здесь-то его подстерегала беда. Ему доступен стал язык богов и сам он уже был почти подобен Богу, но вслед за этим что-то вдруг не заладилось – перепутал формулу бессмертия. Вот так он потерял и своё имя, и свой изумительный дар. И с тех пор оставалось ему только одно – быть оруженосцем от литературы, крёстным отцом таланта или гения, и мечтать при этом, что когда-нибудь он воспитает великого Златоуста.

6

Прошло несколько дней. Погода над Житейским морем портилась. Утреннее солнце, еле видимое, слабо светило в туманах. Город Лукоморск ещё дремал, а Старик-Черновик, страдавший вековой бессонницей, сидел возле печи, бумаги испепелял.

Жил он теперь не в гостинице; там было небезопасно; и внучки рядом не было.

Тесная каморка озарялась бликами. Огонь, разоряясь в печи, пощёлкивал зубами, жадно поедая рукопись. В каморке становилось теплей, а на душе старика – холодней. Жалко было предавать огню «Историю несбывшегося гения». Может быть, для кого-то история эта могла бы стать полезной и поучительной. Но старик Азбуковед Азбуковедыч был непреклонен.

«Надо всё это спалить! – думал он, поёживаясь. – Хоть маленько согреюсь. И почему это вдруг похолодало? Может, клерки из небесной канцелярии намекают мне на то, что здесь делать больше нечего и надо уезжать?»

Старик изумлялся; время весеннее, а настроение в природе вдруг возникало такое, будто поздняя осень пришла, будто вот-вот нагрянут разнузданные шторма, вслед за которыми снежок перхотью притрусит побережье.

Неожиданная эта непогодица заставила затихнуть рестораны, кафешантаны. Закрывались балаганы с приезжими артистами. Цирк шапито сворачивал работу. Киногруппы уезжали, не дождавшись солнцепёка. Побережье день за днём пустело. Под ветром сиротливо скрипели платаны и пальмы, хирели на клумбах цветы, опалённые полночной странной стужей. Бело-снежные яхты всё реже возникали на горизонте, да и морские лайнеры перестали швартоваться в Лукоморской бухте, где вода опять казалась багрово-красной, как это было после Гражданской войны, только теперь не кровь окрашивала бухту – лепестки осыпавшихся роз и миллионы других лепестков ураганным ветром нанесло. А ещё в воде у берега можно было увидеть необычную стирку: прибой полоскал разноцветную парусину, где были нарисованы книги Златоуста и виднелись полустёршиеся буквы и слова – зазывалки на встречу.

Как ни старались организаторы в городе Лукоморске – не смогли заполнить «золотого» автора. Правда, город ещё жил надеждами и обещаниями; литературные агенты, импресарио и кто-то там ещё – энергичные люди продолжали с кем-то вести переговоры; они ещё надеялись на встречу. И только Старик-Черновик осознавал: бесполезно.

От корки и до корки перечитав Златоуста – всё то, что оказалось под руками, – Оруженосец от литературы сделал вывод: это мог быть кто угодно, только не истинный Златоуст. Самозванец какой-то. А настоящего Златоуста, которого Старик-Черновик многие годы сопровождал в походах и учениях – его, скорей всего, и в живых-то нет. И вот эта обжигающая мысль, как ни странно, не только не пугала, а даже успокаивала. Старику-Черновику потерю настоящего Златоуста легче было бы перенести, нежели позор его предательства. Более того, если это пишет не самозванец, а Златоуст-предатель, хриstopродавец, – значит, нужно принимать решение о ликвидации. Так сказали в поднебесной канцелярии, а там такие канцлеры – с ними не поспоришь. Да и спорить нечего. Канцлеры, конечно же, правы. Если он, Старик-Черновик, взялся воспитать ученика, так, значит, он и должен отвечать за то, что теперь ученик вытворяет. Значит, надо принимать «непопулярное решение», как любят выражаться канцлеры.

«Я тебя породил, я тебя и убью! Хоть я и не Тарас и далеко не Бульба! – В сердцах говорил себе Абра-Кадабрыч, прекрасно понимая, что никогда не сможет руку поднять на человека, ставшего ему почти родным. – А может, он и есть родной по крови? Канцлер говорил тогда... Ну, хватит рассусоливать. Надо пойти, забрать дуэльный гарнитур. Думал, если встречу вертопраха – будем стреляться по-честному. Хотя такого чёрта, как Златоуст-предатель, можно укокошить без дуэли. Можно даже просто кирпичом. Взять самый пухлый роман да и треснуть. Ох, опять я отвлекаюсь. Надо выходить...»

Азбуковед Азбуковедыч, поминутно озираясь, глухими переулками пошёл на берег моря, туда, где он в камнях надёжно спрятал дуэльные пистолеты, хорошо известные знатокам и любителям русского слова. С этими пистолетами было связано громкое уголовное дело.

Глава вторая. Преступление века

1

Заголовки эти – «Похищение века», «Преступление века» – когда-то не сходили со страниц газет. Вся страна в ту пору готовилась отметить печальное событие, посвящённое гибели Солнца русской поэзии. А накануне этого события – года за два, за полтора – начались переговоры с Францией, которые, в конце концов, увенчались успехом. В Столынограде открылась уникальная выставка – никогда ещё такого не было. На всеобщее обозрение были представлены два печально знаменитых дуэльных пистолета. Уникальные стволы. Ужасные. Ведь именно один из них – будь он проклят! – погасил Солнце русской поэзии. Это оружие, впервые привезённое из Франции, планировалось поначалу показать в Столынограде, а затем уже перевезти в Северную Столицу, в мемориальную квартиру на Мойке, 12.

История с этими пистолетами сразу стала обрастать легендами и слухами. Кто-то говорил, что в Столынограде в одном из залов выставки, где это оружие хотели первоначально выставить на обозрение, потолок неожиданно рухнул. А кто-то говорил, что рухнули полы, и открылась такая дыра – преисподнюю видно, гиену огненную. Говорили, что это, мол, не случайно – это действует чёрная аура от пистолетов, стрелявших на Чёрной речке. А кто-то склонен был предполагать, что всё гораздо проще – бесценное оружие хотели выкрасть. Правда, это предположение было, пожалуй, самым неуместным: выставка охранялась так, что даже муха в комнату не могла залететь – сразу же срабатывала сигнализация. Выставка, тщательно охраняемая в Столынограде, через неделю должна была переехать в Северную Столицу. И вот здесь-то случилось «похищение века, ограбление века» – пистолеты бесследно пропали.

Сыщики первое время бегали с собаками, искали очевидцев; за воротник хватили каких-то подозрительных субчиков, чтобы вскоре извиниться и отпустить. Происшествие это обсуждалось на каждом углу Столынограда. И больше всего говорили о каком-то странном черномазом стороже – это, дескать, он, подлец, причастен к похищению века. Время шло, и разговоры потихоньку затухали – другие сенсации там и тут загорались по стране и по миру. О дуэльном гарнитуре не то, чтобы забыли, но – французы дали время на поиски пропажи. И вот тогда Азбуковед Азбуковедыч вместе со своим учеником сотворили дивную подделку – великолепную копию дуэльных пистолетов. А уникальный оригинал Старик-Черновик постоянно где-то прятал и перепрятывал, чтобы никто не умыкнул, не дай бог. И вот это оружие он с собою привёз в город Лукоморск. Он поначалу хотел пристрелить своего ученика, несбывшегося гения, который возомнил себя Златоустом и начал такое писать – хоть святых выноси. Но Старик-Черновик был до того старомоден, что не мог просто так взять да выстрелить. Он дуэль хотел устроить, настоящую дуэль, всё честь по чести.

«Не получилось! Ну, ладно! – Чернолик что-то вспомнил, глаза засверкали. – Не получилось это – получится другое...»

Достав оружие из тайника, он вернулся в каморку. Проверил пистолеты, порох, шомпол и всё остальное – всё было в рабочем состоянии.

Старик сел за стол и решительно вывел на чистом листе: «Приговор». Потом о чём-то глубоко задумался. Порвал листок, закинул в печь, где ещё тлели угли.

– Сволочи, – пробормотал, – за Музочку вы мне ответите.

Ишь, придумали – Музу в бордель...

2

Вчера Старик-Черновик определил Музарину в безопасное место – самолётом отправил туда, где были давние надёжные друзья, там будет Музарина жить как у Христа за пазухой. А у старика ещё дела, надо ему кое с кем повстречаться, поговорить по душам...

Взволнованно шагая по каморке, старик голову руками обхватил. Два человека ему не давали покоя: хозяйка гостиницы, бандерша Катрина и директор здешнего издательства по фамилии...

– А хрен его знает, какая фамилия. – Чернолик отмахнулся. – Про эту фамилию камелотёсы думают пускай, им предстоит фамилию эту вырубать на плите надгробия! Вы мне за внучку ответите!

Чернолик дождался темноты, затем принарядился как почтенный гражданин – белый костюм с иголки, седой парик – и потихоньку, полегоньку покинул город Лукоморск. И никто не обратил внимания на то, что два громких преступления в городе произошли как раз накануне отъезда этого тихого почтенного гражданина.

Первое преступление – поджог бывшего дома творчества, который теперь в народе назвали домом терпимости. (Поначалу думали – это шальная молния, но экспертиза показала: нет, поджог). А второе преступление было ужасным и одновременно «рядовым» с точки зрения криминалистики – ряд подобных преступлений уже был зарегистрирован в разных уголках страны.

Странные какие-то были преступления, господа и товарищи. Представьте себе такую картину. Современный издательский дом – с колоннами, с архитектурной лепниной, больше, правда, похожей на залипуху, потому что строить наша современная артель ни черта не может, но это, извините, к делу не имеет отношения. Так вот. Представьте себе издательский дом где-нибудь в провинциальном городе или даже посредине Белокаменной, или где-то в северной столице на берегу Невы. Этот дом, естественно, хорошо охраняется, ворона мимо не пролетит – укокошат из табельного оружия. А про человека постороннего и говорить не приходится – не пройдёт он, не проползёт и не просочится мимо охраны. И тем не менее...

– Как он мог проникнуть? – мрачно спросил человек из какого-то сыскного агентства города Лукоморска, рано утром примчавшийся на место криминала. – Как он мог проникнуть, если вы, по вашему уверению, ни на минуту за ночь глаз не сомкнули?

– Сам удивляюсь! – виновато лепетал охранник, бледный и вспотевший. – Как-то проник? Скотина.

– А камеры наблюдения? – расспрашивал сыщик. – Надеюсь, работают?

– А как же! – клятвенно заверил охранник, едва не крестясь. – Камеры это... в порядке.

– И что на мониторах?

– Да в том-то и дело... – Охранник развёл здоровенными своими «вёслами», на которых засверкали перстни с печатками. – Мы это... ленту прокрутили, а там... всё чисто...

Мрачней, сыскарь направился в кабинет директора издательства. Кабинет богатый, навороченный от пола до потолка – роскошная мебель из красного дуба, кожа, позолота под Людовика XIV. На стенах – картины маслом. А на столе, можно сказать, картина киноварью.

На блестящей полировке дорогущего стола, на белоснежных бумагах упокоилась умная головушка директора издательства. Это был какой-то тихий ужас. Сыщик был молодой и всё ещё никак не мог привыкнуть «по-рабочему» относиться к смерти. Он смотрел на голову директора издательского дома и не мог уразуметь: как это так? Ещё совсем недавно сколько проектов было в этой голове! Столько дерзких планов и мечтаний! И что же теперь? Белоснежные бумаги в головах директора словно бы залиты свежей киноварью, мерцающей в лучах

восходящего солнца. А рядом с этой умной головою лежит и золотом блестит такая самописка, стоимость которой – как позднее выяснится – больше «Мерседеса».

Сыщик наклонился над каракулями, которые были, скорее всего, нацарапаны за минуту до выстрела.

– Приговор... – негромко прочитал суровый сыщик и стал выхватывать слова из короткого странного текста предсмертной записки: – Прошу никого не винить... Не искать... Я решил писать по-русски и потому решил уехать в мир иной, буду там учиться, от пошлости лечиться... – Человек из сыскного агентства крикнул рассерженным селезнем и посмотрел на заплаканную секретаршу. – Это почерк директора? Слышите?

Секретарша – миниатюрная живая кукла вся в драгоценностях, в слезах, в помаде, с крепким запахом валерьянки, – заикающимся голосом подтвердила:

– Это почерк шефа... И подпись шефа...

– Понятно, – пробормотал угрюмый сыщик и совсем уже тихо прибавил: – А я так думаю, что это – почерк Цензора!

За спиной сыщика стоял кто-то очень ушастый – расслышал последнюю фразу.

– Извините, – напомнил ушастый, – но у нас теперь цензуры нету.

– А Цензор – есть! – тяжело и раздражённо ответил сыщик, поворачиваясь к помощникам. – Ну, что? Гильзу нашли? Нет? Я так и знал. А собака след взяла? Тоже нет? И это не удивительно. Почерк Цензора, чтобы ему ни дна, ни покрывки!

– А что это за Цензор? – заинтересовались работники издательского дома.

– Псих какой-то, маньяк, – раздражённо ответил сыскарь и отмахнулся: – Посторонних попрошу покинуть помещение!

Работники издательства, в одночасье оказавшиеся посторонними в своём издательстве, стояли в коридоре по углам, нервно курили и переговаривались о том, какие странные и страшные дела стали твориться в городах и весях нашей страны. Ведь этот случай – далеко не первый, о чём-то подобном уже писали и передавали из уст в уста. Но до поры до времени это казалось пустой болтовнёю, досужими сплетнями. А теперь вот, когда самих коснулось, – теперь пришлось поверить во все эти рассказы, которые сводились к тому, что на просторах нашей великой страны объявился какой-то сумасшедший Цензор, так его прозвали сыщики. Этот Цензор год за годом целенаправленно взялся обезглавливать самые престижные издательские дома, книготорговые фирмы и всё такое прочее, хоть как-то имеющее отношение к печатной продукции. Причём была одна такая закономерность: помешанный Цензор казнил только тех, кто распоясался до неприличия и многотысячными, многомиллионными тиражами распространял всякие пошлости, издаваемые чуть ли не в золотом обрезе. Дело это стало «резонансным», как нынче любят выражаться, и на поимку этого Цензора брошены были все лучшие силы сыскных департаментов. Да только, видно, мало каши ели эти «лучшие силы» – Цензор преспокойненько продолжал работать в разных уголках страны, и никто не мог сказать, где он завтра объявится.

3

Кошмарную новость о Цензоре пассажирам скорого поезда сообщил какой-то странный старичок, весь такой пушистый, облачённый в белое. И пассажиры, кутившие в тамбуре, и пассажиры, сидевшие по своим купе, оживлённо стали обсуждать эту новость. Стали возмущаться нравами новой эпохи. И среди возмущавшихся больше всех выделялся «божий одуванчик», одетый во всё белое, да к тому же Белинский (фамилия была в билете). Старичок этот, Азбуковед Азбуковедыч, скрипел зубами, среди которых был один золотой, чрезмерно длинный, похожий на перо от самописки – наверно, стоматолог плохой попался.

Старичок едва не плевался, говоря, какое людоедское время на дворе, какая жуткая эпоха наступила – жгут и стреляют среди бела дня. А затем старичок с неожиданной прытью – молодому на зависть – забрался на верхнюю полку. Подложил под голову какой-то саквояж, и закимарил.

Лететь самолётом Азбуковед Азбуковедыч не рискнул: дуэльный гарнитур пронести через контроль никак нельзя, а в багаж сдавать опасно; мало, что ли, было случаев, когда грузчики или кто-то ещё самым беспардонным образом рылись в багаже пассажиров.

Так старичок и проспал на своём саквояже, а точнее сказать, пролежал с закрытыми глазами, поскольку он давно уже – сто или двести лет – маялся жестокой бессонницей. О чём он думал, лежа с закрытыми глазами? Мучился ли он муками совести по поводу кошмара в Лукоморске? Нет, не мучился. А почему? Да просто потому, что никакого кошмара не было.

Да, да! Ничего подобного не было: ни сыскного агента, ни заплаканной секретарши в издательстве, ни убитого директора издательства. Ничего этого не было. А если было, так только в воспалённом воображении Старика-Черновика. Хотелось ему, ой, как хотелось, чтобы наконец-то явился миру новый Стенька Разин и навёл-таки порядок на Руси. Куда это годится? Такой бардак кругом, что просто ужас...

Старик Белинский до того задумался, загоревал на верхней полке, – даже не заметил, когда остановились, когда попутчики покинули купе.

Было раннее утро. Пассажирский поезд привёз Белинского на один из громадных вокзалов шумного и суетливого Стольного Града. Шагая с вокзала, Белинский попал в такой крутой водоворот – чуть пуговицы не отлетели. Народу было – пропасть. Вавилонское столпотворение. Где тут найдёшь одного человека? И всё же старик надеялся; здесь и только здесь можно будет разыскать Златоуста, если он жив-здоров. Стольноград готовится к большому празднику и со всех концов земного шара сюда слетятся знаменитости, так называемые «звёзды», которые на самом-то деле чаще всего не тянут даже на простую керосиновую лампу – не светят и не греют...

Поначалу Азбуковед Азбуковедыч хотел устроиться куда-нибудь в газету хоть корректором, хоть наборщиком – метранпажем, так это когда-то называлось. Но, поразмыслив, решил не связываться. «Жульёристы и бумаговератели, – кручинился Абра-Кадабрыч, – теперь такое стряпают – стыд и срам корректировать! Выпустили джина из Бутырки, попробуй-ка обратно затолкай!»

Он стал работать дворником, немало удивляясь тому, что эта должность почти всегда свободна по той простой причине, что желающих намусорить тысячи тысяч, а желающих прибраться – по пальцам перечесть. С одной стороны, это грустно – грязи-то, ребята, по колено. А с другой стороны – ты везде и всегда желанный товарищ, а где-то, может, даже и господин.

4

Великий и бессмертный Стольноград не спал, несмотря на глубокую ночь. Стольноград – один из древнейших городов на Земле – скоро будет отмечать своё тысячелетие. И всё это время, если вдуматься, начиная с первых дней младенчества, Стольноград ни на минуту не смыкал глаза, бесчисленные глаза фонарей, в которые сначала для пущей зоркости закапывали керосин. А теперь, на пороге нового тысячелетия, глаза фонарей даже моргать научились – энергосберегающие лампы сами собой угасают и вспыхивают. Но, кроме этих ярких фонарей, на проспектах и площадях по ночам сияет-полюхает такая иллюминация – небу жарко становится. Золотые купола и шпили светятся. Облака и тучи переливаются павлиньими перьями, проплывая над каменными громадами Стольнограда. И постоянно горят глазёнки суетливых машин – легковых и грузовых машин, время от времени проносящихся по улицам и проспектам...

«Не спит, не спит громада Стольнограда! – размышлял Азбуковед Азбуковедыч. – И моя извечная бессонница не идёт ни в какое сравнение с бессонницей этого мегаполиса, который воочию видел и Наполеона, и Христа, и Антихриста. Ну, это я, конечно, маху дал, преувеличил... Христа этот город не видел, а вот Антихриста, кажется, скоро увидит. И страшно мне подумать, кто это такой – современный Антихрист. Неужели тот самый, кто хотел, мечтал быть Златоустом? Не могу поверить. Не хочу. Газеты пишут? Да мало ли там нынче всякого вздора. Не поверю, пока не увижу своими глазами. А если увижу – узнаю? Ведь он же так переродился – мать родная не сможет признать...»

Азбуковед Азбуковедыч постоял у оконца – узкого, глубокого. Посмотрел на огни полночного города. Оконце, обрамлённое железной крестовиной, похоже на бойницу крепости, и это обнадеживало старика. Если его попытаются взять – а это не исключено! – тесная каморка превратится в хорошую цитадель. Во-первых, у него есть карабин и патронов достаточно, а во вторых...

За окном что-то хрустнуло – точно ветка в полночном саду под ногой непрошеного гостя.

Испуганно пригнувшись, старик отошёл в дальний угол. Затаился, почти не дыша, крепко держа наизготовку золотой карабин, мерцающий во мраке. Но за стеною по-прежнему всё было тихо, дремно, только ветер в саду поскуливал.

Обитатель каморки, вздыхая, расслабился и нехотя отложил оружие.

Бумага в печи прогорела уже, и надо было снова затевать печальную работу. А так не хотелось...

В дальнем углу убогой дворницкой, отражая смутный свет уличного фонаря, мерцала широкая лопата, хорошо пригодная для снегоборьбы, поблёскивал пудовый лом, словно отлитый из серебра. При помощи своих «кошачьих глаз» превосходно ориентируясь впотьмах, старик ушёл куда-то в угол...

– В Санкт-Петербурге дворнику памятник поставили, – заворчал оттуда. – И в Гомеле поставили – дворничихе, бабе. А Старик-Черновик перебьётся, не гордый. А я, между прочим, уже не первые сто лет подметаю, дерьмо выгребаю за графоманами и даже за классиками...

Из тёмного угла старик вернулся, держа в объятых целый сугроб какой-то удивительно светлой бумаги – странно сияла впотьмах.

– Дожился, докатился, колобок, – забормотал старик, склоняясь над бумажными развалами, упавшими возле печи. – Вот уж никогда бы не подумал, что придётся жечь, как сумасшедший сжигает свои миллионы...

Старик нисколько не преувеличивал. Каждая страница этой беременной рукописи, которая ни сегодня-завтра была готова разродиться романом, даже самая невзрачная страница – приходи он сегодня в любое издательство – обернулась бы зелененькой стодолларовой бумажкой. А может, даже и не сто, а двести, триста долларов за каждую страницу отвалили бы – это как сторговаться. Но в том-то и дело, что деньги для него – пыль на дорогах истории. Вот почему теперь он так хладнокровно сжигает свои миллионы – от пыли решил отряхнуться. Только он уже устал «отряхиваться», честно говоря, – рука устала бросать в огонь листы, листы, листы, мелко испещрённые старательным каллиграфическим почерком, которым сегодня уже, наверно, никто не владеет.

Обладая уникальной способностью писать двумя руками сразу – и поэзию и прозу одновременно – покорный слуга намарал целые горы бумаги. Поначалу это была «История гения», а потом, год за годом, превратилась она в «Историю несбывшегося гения». Поначалу Оруженовец радовался, – ой, как много материалу наскирдовал, на пенсию выйдет, займётся обработкой. А теперь вот – в пору заплакать. Жалко всё-таки сжигать, а надо. Причём надо-то сжигать тайком, по-партизански, соблюдая светомаскировку по ночам, когда кругом такая тишина, что даже бумага в печи, разгораясь, так трещит, будто гром за окнами. Хотя на самом деле – клад-

бищенский покой. И в каморке тихо, даже мышь не слышна. И за стеною глухо – Стольноград не спит, но и не бодрствует, он словно бы лежит с открытыми глазами, отдыхает.

В тишине заскрипела чугунная дверца – распахнулся красный зев небольшой печи, в глубине завиднелись малиновые гланды.

«Стольноград, наверно, можно было бы всю зиму согреть, если в котельной работать и топку вот этими бумажными курганами топить, – сокрушался Оруженосец. – А если бы иметь возможность снова превратить всю эту бумагу в деревья – Стольноград потонул бы в дремучей тайге. Эх, ну что? Пора топить котят, пока слепые. Пора, мой друг, пора. Да только жалко, ой, как жалко заготовки лунного листа. Как я стану жечь эти листы? Не знаю. Буду жечь, и тут же горячими слезами заливать. И снова, снова буду вспоминать, как мы заготавливали эти изумительные лунные листы, как бродили по морям и океанам, как расставались у подножья той великой горы, откуда мой ученик должен был вернуться Златоустом...»

За окнами синело и аквамаринилось – нежная прозелень зацвела на востоке. Не в силах заставить себя сжечь «Историю несбывшегося гения», дворник собрался, вышел на работу. Пока на дворе было сухо, заботы по уборке немного, и старик, управившись со своей «делянкой», отправился фланировать – бесцельно бродить по Стольному Граду.

5

Давненько он тут уже не был. Соскучился.

Много чудес и великих красот посчастливилось увидеть ему – земному скитальцу и небесному жителю. Перед ним когда-то открывались красоты Древнего Рима. Он прекрасно помнит Лондон, окутанный флёротом таинственного тумана. Греческие Афины вставали перед глазами скитальца. Париж. Лиссабон. Владеющий десятками языков и наречий, он везде и всюду был желанный гость. И везде и всюду были у него свои предпочтения, излюбленные уголки. В Риме это был Колизей, а вернее то, что осталось от него. В Греции – Афинский Парфенон. В Париже – берег Сены или Булонский лес, а точнее, парк на западной окраине Парижа. В Лондоне полюбился ему знаменитый Лондонский Тауэр – один из главных символов Великобритании, старейшая крепость, которая за время своей долгой жизни была и дворцом, и хранилищем королевских драгоценностей, и военным арсеналом, и монетным двором, и тюрьмой, и обсерваторией, и даже зоопарком. Лиссабон запомнился, как одна из самых тёплых европейских столиц, где он хотел бы жить, невзирая на то, что там немало дождливой погоды, заметно зависящей от Гольфстрима. Австралия и Океания запомнились Маршалловыми Островами и роскошным Королевством Фиджи; от этих берегов он сердце с кровью отрывал, навек запомнив, как зазывно, как безутешно рыдали теплоходы перед расставанием с тёплыми морями и океанами.

Земля прекрасна, да, но почему, почему только здесь, в этой загадочной стране, в названии которой дрожит роса, – почему только здесь он ощущает себя не в гостях, а дома? Почему только русский язык – великий и могучий – в его представлении был и остаётся языком богов? Этого Азбуковед Азбуковедыч не мог объяснить. Любовь не поддаётся холодному рассудку.

Глава третья. Любовь на бересте

1

Весна в том далёком приснопамятном году пришла на землю раным-ранёхонько. Получилось, как в той поговорке: не глядя в святцы да в колокол бух. И птицы раньше срока прилетели, и цветы из-под снега так дружно проклюнулись, будто сговорившись. Заголубли подснежники. Жёлтыми чашечками закрасовался весенник, светло-синие ирисы, хохлатки, весенний морозник. И воздух над полянами, над перелесками, густо напоённый медовым ароматом, бродил, как брага, охмелял, охмурял.

Ой, да что там говорить! В крови кипела юность и весна, и парень втрескался в одну пригожую красу, которую случайно повстречал в родном лесу, где жил семнадцать лет, молился колесу. И все думы теперь были только о ней. И не простые думы были, нет. Стихи в голове зазвенели. А как же иначе? Любовь окрыляет, любовь поднимает к звёздам и солнцу, и человек невольно становится поэтом...

Парня звали – Иван Простован. Ивашка, петухом расшитая рубашка. Он был «не здешний». Он был подкидыш. Приёмные родители нашли мальчонку в грозовую июльскую ночь где-то под ракитовым кустом, где он кричал, как недорезанный острыми ножами молний. И то, что он теперь бумагу стал изводить почём зря – не удивило приёмных родителей. Был бы родной, тогда бы рты разинули: откуда в нём такой талант? А подкидыш – тёмная лошадка. Да и вообще баловство такого рода – сочинения да песнопения – деревенская жизнь испокон веков не признаёт; этим не прокормишься. Короче говоря, никто из домашних не заинтересовался виршами – все озабочены были добычей хлеба насущного. Только дед проявил любопытство, да и то, скорее всего, от скуки.

Это был могучий, колоритный дед Илья, дед Мурава – седая борода у него была иззелена, словно сухой травой лицо обмуровало. Похожий на былинного Илью Муромца, дед подолгу просиживал на русской печи, газетки, журналы штудировал.

С трудом разобрав почеркушечки внука, дед ухмыльнулся в зеленоватую бороду.

– Ох, парень, ты и врать горазд! – басовито похвалил, по-богатырски глядя из-под руки. – У тебя такие перлы получаются, должно быть, от того, что перловки обожрался.

Внук похлопал синими, наивными глазами – длинные ресницы врасстопырку.

– А что, дед? Плохо?

– Ничего, – сдержанно ответил критик. – В темноте под одеялом можно той царевне почитать.

Они посмеялись. Дед посоветовал печь протопить этими перлами и успокоиться. Но Ивашка был настроен по-боевому.

– Хочу поехать в Стольный Град!

Дед, «разинув бороду», с печи едва не грохнулся.

– Ты чо, сдурел? Зачем это – за тридевять земель?

– А пускай пропечатают!

– Ну? И што? Обзолотишься? Парень помолчал, глядя в окно.

– Тогда она узнает, что Ванька не дурак, и согласится замуж. Над переносьем деда крупная морщина прострочила.

– Постой, милоч! Постой! Ты про кого гуторишь? Ты на ком жениться вздумал? А? – Дед седую молнию метнул из-под бровей. – Давай, рассказывай, кто она такая, твоя краля?

– Да я и сам пока не знаю, – с грустью сказал Ивашка. – Они обретаются где-то в тайге, в потаённом местечке. Я случайно увидел. А теперь вот найти не могу.

2

Искать пришлось долго, упорно. Подкидыш забросил работу на кузнице – дремучую тайгу вдоль и поперёк исходил в окрестностях и за перевалами. Жить в одиночестве и под открытым небом – не то, что в кузнице, пропахшей гарью! – понравилось. Вольная воля кругом. Ветровой. Красота. И ничуть не пугали зеленовато-тёмные, в упор смотрящие глаза тайги; косматые урманы, откуда пахло звериным логовом. Даже в самом страховидном месте, где у любого охотника душа замирает в предчувствии близкой опасности, – Ивашка вёл себя так, будто пришёл домой, где можно беспечно разуться, рубаху и портянки просушить возле костра, похлебать ушицу и поспать на свежей хвойной перине.

И день, и ночь искал он свою любовь, мечту и наваждение – будто иголку в стогу. Не скоро, но всё же «иголка» нашлась – сладкой болью проколола сердце. «Как теперь к ней подступиться?» – кручинился парень, сидя над рекой и глядя в сторону заимки, хорошо запрятанной в пазуху тайги.

Заимка эта много лет тому назад пустила корни за перевалами – в потаённом, укромном местечке, окружённом скалистым «забором» и непроходимым чернолесьем. Заимка скромная – приземистый сосновый теремок, дощатый сеновал да небольшая пасека на островках у Золотого Устья; там после первых весенних солнцепёков и до самой осени попеременно красовались какие-то изумительные цветы, в чашечках своих таящие медвяную пыльцу, похожую на капельки мёда.

Он уже знал: на заимке проживают старообрядцы – соблюдают «истинную» веру, молятся о спасении бессмертной человеческой души, опасаясь прихода Антихриста. Затаившись неподалёку, парень смотрел на заимку и думал: «Эти кержаки даже на порог меня не пустят. Ещё, гляди, собаками затравят. Придётся караулить, делать неча...»

В густой сухой засаде – в кустах шиповника, в кондовых соснах – комаров кормить пришлось; а вслед за тем нагрянули дожди, и он ушёл, не солоно хлебавши, – даже издали не смог увидеть свою царевну. Однако же характер был настырный. Ходил и ходил на заимку. И вскоре обнаружил тёмную баньку, потаённо стоявшую в берёзах на берегу. Стал караулить, когда затопят, когда можно будет, по-воровски пробравшись по кустам, посмотреть в золотое потное оконце, за которым волшебным цветком распустился огонь керосиновой лампы. Сердце бешено билось в такие минуты – отчаянно толкало к потному окну. Подкидыш понимал, что могут быть собаки – налетят, разорвут на куски; или выйдет на крыльцо белобородый кержак – саданёт из ружья. Понимать-то понимал, но ничего с собой не мог поделывать – молодая кровь ковшами кипятка обжигала башку, наполняя душу и тело каким-то угарным томлением. Парень весь как будто разбухал, и «разбухание» это начиналось где-то внизу, в паху, а вдогонку за этим и сердце уже разбухало, и голова – со знанием туманилось. И вот однажды, когда он находился в таком необычайно «разбухшем» состоянии – кто-то сзади подкрался к нему и тяжёлой рукой попытался схватить за плечо. Рука кержака показалась пудовой, железной – Ивашка вздрогнул, подскочил и, не раздумывая, со страшной силой молотобойца треснул по мохнатой морде кержака. Приглушённо зарывав, кержак взмахнул короткими руками и упал – прямо на свет, лежащий под оконцем. И в следующий миг волосы у парня зашевелились от ужаса. Этот кержак – сутулый и громоздкий – оказался ручным медведем, которого держали на заимке вместо сторожа. Это был Дядька Медведь – Медведядька, так его звали.

После этого случая Подкидыш зарёкся приближаться к заимке, но упрямой затее своей не оставил – подкараулить царевну. И это удалось ему июньскою порой, когда старообрядцы вышли на травокос – неумоимо, проворно литовками состригали молодое разнотравье вперемежку с дикими и дивными цветами, распугивали стрекоз, бабочек, шмелей и пчёл. Теперь-то Ивашка знал, что есть у кержаков надёжная и страшная охрана – Медведядька. И поэтому

Ивашка загодя «вооружился» на всякий случай. С ним теперь ходила по тайге «немногословная», умная лайка, способная издали учуять запах медведя. Запах тот – и зимой и летом одним и тем же цветом; настолько сильный, крепкий, что даже самый смелый жеребец иногда не решается переступить через свежий косолапый след. Ивашка – не раз и не два – был свидетелем того, как лошади вприсядку танцевали и от страха грызли удила на дороге возле деревни, где ночью побродил громадный зверь, а поутру люди не могли на кузницу проехать.

Однако у ручного Медведядьки в тот погожий день был выходной – так позднее шутил Ивашка, не зная, как объяснить своё невероятное везение.

Возле потаенного Золотого Устья дивчина оказалась одна. После покосной работы – не спеша, блаженно – девушка купалась, нежилась в тёмно-синей запруде, где серебром сияли звёзды белых лилий. Он подкрался к той запруде и...

И что там было дальше – на берегу под плакучими ивами – даже под пытками он никому и никогда не рассказал бы, нет. Любовь – это сказка и тайна, которую знают только два влюблённых сердца на земле. Ни словечком он не обмолвится, только щёки порой красноречиво будут говорить, краснея как два помидора, при одной только мысли о ней. При воспоминании о том, как она – царевна Златоустка! – выходит из воды и стоит на солнечном песке, одетая в одно лишь «драненькое платице» – лёгкую и трепетную тень плакучей ивы, игриво дрожащую на покатых, загорелых плечах, на спелых яблоках грудей, на тонкой талии и ниже, ниже...

Помирать он будет, не забудет, как над головою в чистом небе горячо и судорожно вздёрнулась белая молния, видная только ему одному. Затем угрюмо бухнул гром, слышный только ему одному. И ослеплённый, и оглушённый этой небесной красотой, парень упал на колени, как дикарь пещерного столетия, свято почитающий грозную богиню. Доходя до неистовства, он головой – воспалённым лбом – несколько раз ударился о берег и начал целовать её следы в песке, продырявленном крупными дробинами воды, скатившейся с её длинных волос, похожих на царские кудри – цветы неземной красоты. Подкидыш был готов не только землю целовать – готов был камни грызть, чтобы хоть как-то, хоть чем-то подкрепить бессвязные, бессильные слова о своей огромной и всепоглощающей любви, о верности на веки вечные.

Вот об этом Ивашка и попытался кое-что нацарапать «на бересте», как говорили те, кто видел парня возле реки, где он сидел на пенёчке, грыз карандаш.

– Был нормальный Ванька, а стал Иван-дурак, – горевал сердобольный народец в округе. – Скоро все берёзы обдерёт. Целыми днями бересту изводит.

3

Солнце над горами понижалось – косые красноватые лучи половиками задрожали возле порога и возле печи, на которой восседал дед Мурава. Деревенский этот Илья Муромец по натуре был человеком добрым, но грубоватым – долгое время работал лесничим, привык дубиною махать, соловьев-разбойников по лесам гонять.

– Царевна, говоришь? – Дед поглядел на писульки внука. – Да какая там, на хрен, царевна? Что я не знаю этих кержаков? Какие там хоромы и дворцы? Ну, пасека у них, ну, медогонка. И что? Да она такая же царевна, как я – царь Горох.

– Много ты понимаешь! – Ивашка забрал писанину. – Считаю, что не показывал...

– Ну-ну, не сердчай! – примирительно сказал бывший лесник. – Если в наших сказках даже простая лягушка – царевна, дак почему бы и нет? Это я согласен. А вот замуж за тебя она не хочет потому, что не слепая.

Подкидыш походил по горнице и, остановившись напротив зеркала, мрачно посмотрел на свою физиономию – скуластую, кое-где побитую щедринками. Посмотрел – как на чужого, которого маленько недолюбливал. Высокий и широкий лоб, ещё не потревоженный морщинами, казался чересчурным – поросят можно бить, как шутят в деревне. Большие синие

глаза, подёрнутые поволокой, казались девчачьими, и потому Ивашка время от времени старался глядеть хмуроброво, с суровинкой. Волевой подбородок был ему по душе. А вот эти жиденькие усики – два ржаных колоска над пухлой губой, говорящей о доброте и нежности – эти колоски ему не нравились; хотелось, чтоб скорее они заколосились, прибавляя парню возраст, придавая мужественный вид.

Отворачиваясь от зеркала, он поддёрнул штаны.

– А что? Симпатичное хрюкальце! И вообще... В школе нам говорили, что Лев Толстой по молодости был некрасивым, неловким и застенчивым.

– Эва, куда ты хватил! Не высоко? – изумился дед. – А скоко у Толстого было ребятишек? Я прочитал тут, в газетке. Он их много настрогал своим рубанком. А ты?

– И я настрогаю!

– Дурное-то дело не хитрое, внучек. Я не об этом пекусь. Как ты прокормишь детишек? Ты ведь, Ванька, оболтус. Ты вот на рыбалке был позавчерась, полную лодку рыбы натягал. А что опосля? – Дед нахмурился. – На кой чёрт отпустил?

Ивашка удивлённо вскинув брови.

– А ты откуда знаешь?

– Вся деревня знает. Кто-то с берега видел, растрезвонил. Вот зачем ты рыбу отпустил? Пуда полтора или все два?

Простован в окошко посмотрел – в сторону реки.

– Жалко стало. Как-никак живая тварь...

– Живая! – Дед сердито крикнул. – Ладно. Едем дальше. Вот зимой ты на белку пошёл. И чего? Снова жалко?

– Ну, а ты как думал? Она такая кроха, а мы ей – пулю в глаз.

– Тьфу на тебя! – Дед обескуражено покачал головой. – Да лучше ты ей пулю в глаз, чем она тебе орехи будет грызть!

– Какие орехи?

Запрокинув кудлатую голову под потолок, дед неожиданно расхохотался.

– Был один знакомый у меня. Соловей-разбойник в тёмном лесе. После работы на большой дороге он на радостях нажрался бражки, да и заснул голышом под сосной. А белка-то поблизости жила. Дак она ему чуть было все мужицкие орехи не отгрызла...

Синие глаза Подкидыша бестолково хлопали длинными ресницами, точно взлететь хотели.

– Чо ты буровишь, дед? Я не пойму.

– Вот то-то и оно. Когда созреешь, тогда и можно будет с тобой гуторить. – Становясь серьёзным, дед глазами показал на писанину. – Чем ты собираешься кормить своё семейство? Вот этими перлами на бересте? Дак эти перлы, милый, никогда не станут перловой кашей.

– А скоко я ореха из тайги притарабанил? А грибы? – перечислял добытчик, загибая пальцы. – А коренья? А мумиё...

– Дак я тебя за это не корю. Живёшь тайгой, вот и живи, не рыпайся. Не суй свой нос, куда собака хобот не совала.

Помолчали, слушая старинные ходики, размеренно шагающие в сторону летнего вечера. За окнами шум нарастал – усталые люди с полей возвращались: кто пешком, кто на телегах. В тишине за поскотиной ботало чуть слышно побрякивало – коровы шли домой. За деревней закат догорал – горсточка багряно-малиновых углей мерцала на горизонте. Сумерки стали сурьмиться по дворам, по улицам. Берёзы под окошком посинели, точно озябли, хотя на дворе было жарко – листва на деревьях поникла; уши лопухов скукожились возле ограды.

Как ни старался жизнью умудрённый дед – не переломил упрямство внука.

– Нет! – Подкидыш исподлобья уставился в туманные дали. – Поеду в Стольноград! Пускай пропечатают!

Приглушённый говор за стеной раздался, кашель. Дед головой встряхнул, потыкал пальцем:

– Вон батька пришёл. Он тебе съездит... по ушам, по загровку.

– А я не для того тебе рассказывал, чтобы ты ябедничал. Сокрушённо вздыхая, дед прилёг на печку, руки за голову заложил. Надоело внука образумливать.

– Баловство это, Ванька. В такую даль тащиться – одуреешь.

Это скоко суток пыхтеть на паровозе?

– На паровозе долго. Вот если бы на самолёте...

– Так на ём, поди, дорого? На ковре-самолёте.

– Дороговастенько. В том-то и дело. А то б я давно умотал. Дед Мурава помолчал, глядя в пол, задумчиво царапая зеленоватое сено своей бородачи. Затем сосредоточенно уставился в серебристо-синий потолок, точно в бездонное небо, по которому мчался ковёр-самолёт. И вдруг он заворочался, потрескивая хворостом хворых сухожилий и суставов.

– Эх! – отчего-то веселея, дед свесил ноги с печки. – Хрен с тобой! И чего не сделаешь, любя... Может, я чего не понимаю в этой твоей писанинке. Может, оно и правда хорошо. Там-то люди грамотные. А ну, как в люди выбьешься, в писателя. – Дед нажал на букву «я». – Хэ-хэ. Дам я тебе денежку. Мне отвалили пенсию на днях. Я ведь не зря всю жизнь дубиною своею груши околачивал, соловьёв-разбойников по лесам гонял.

Жиденькие усики Подкидыша – два ржаных колоска – озарились улыбкой.

– Вот спасибо! Я отдам! – поспешно заверил. – Я непременно...

– Ты матери с отцом, гляди, не проболтайся, а то они всю плешь мне прогрызут. – Дед закричал, вытаскивая деньги откуда-то из-под тулупа. – На, держи. Да тока положи куда подальше, чтоб не спёрли...

Всю ночь не спал Подкидыш, волновался. Да и как иначе-то? Он всей душой, всем сердцем чуял: что-то начинается в его судьбе, что-то новое, необычайно радостное, хотя и тревожное.

4

Всё, что с нами в жизни приключается впервые – да если ещё в детстве или в юности, – тогда любое мало-мальски хорошее событие становится почти что эпохальным, о котором трудно рассказать без частого восклицательных знаков!!!

Примитивный самолёт, фанерный «кукурузник» в глазах Подкидыша превратился в ковёр-самолёт, расшитый серебром и золотом. Распугивая коров, пасущихся неподалёку, надсадно тарахтя движком на взлёте и подпрыгивая на неровной земляной полосе, ковёр-самолёт разогнался, поднялся, вихляясь на встречных воздушных потоках – и воспарил под облака. И вот тогда Подкидыш первый раз глядел на землю глазами птицы. Он залюбовался голубыми этими горбатыми предгорьями, похожими на две больших ладони, в которых крепкими груздочками белели березняки, плотной стеной стояли зеленохвойники из пихтачей, из кедрачей и сосен; светлой жилкой трепетала река, вдоль которой прилепились домики деревни Изумрудки.

Утреннее солнце на гористом горизонте было похоже на кузовок, в котором с горбушкой насыпано багрово-малиновой ягоды. Незримая чья-то рука приподняла кузовок над горами и опрокинула. И побежали вприпрыжку, покатались ягодки по перевалам, по увалам, по лугам и покосным полянам. И заиграли, запрыгали яркие ягодки, умываясь росой, беспечно резвясь и ликуя на пороге нового дня. И золотыми листьями вспыхнул заревой огонь по ручьям, по рекам и озёрам. И невозможно было передать восторг, бушующий в груди человека. Радостное сердце то вдруг замирало где-то под рёбрами, то начинало вырываться из-под рубахи...

Рыжий какой-то, хозяйственный мужичонка, проживающий в Изумрудке, тоже в город летел. На коленях у него стояла плетёная корзина, в которой колыхался белый толстый цветок с оранжевым лепестком – жирный гусь в корзине восседал, бестолково паялился на землю, проплывающую далеко внизу; гусь, наверно, удивлялся тому, что он крыльями не машет, а всё равно летит под облаками...

«Домашним уткам и гусям крылья подрезают!» – вспомнил Ивашка, испытывая странную жалость к этому обескрыленному гусаку и одновременно к этому рыжему односельчанину.

Летели не долго. Совершили посадку на окраине старого областного центра. Городской аэропорт, расположенный среди полей, заметно отличался от сельского; здесь коровы не паслись рядом с самолётами, здесь и травы-то не было на лётном поле – кругом асфальт, размеченный белыми и жёлтыми полосками, фонари на асфальте, точно большие красные цветы.

Тут нужно было делать пересадку. Ивашка потолкался от одного стеклянного скворечника к другому – купил билет. Подождав немного, двинул на посадку в самолёт, гудящий гигантским гудом. Этот «летающий дом» вызывал не только восхищение – жутковато становилось. Такой громоздкий лайнер, мама родная. Да как же он взлетит? А ну-ка навернётся?..

Озираясь по сторонам, Ивашка понемногу стал утрачивать беззаботно-восторженный пыл. Тоскливо становилось, неприятно.

И вдруг знакомый лётчик повстречался – Маковой Литагин.

– Звездолуб! – едва не закричал Подкидыш, так обрадовался.

Бравый, жизнерадостный Маковой Литагин родился и вырос в Изумрудке. Он ещё в подпасах – лет, наверное, в семь, стал неисправимым звездолубом. Когда мальчишки с бородастым дедом выгоняли лошадей в ночное, Маковойка не сидел возле костра, не слушал байки – постоянно лежал где-нибудь в стороне на травушке, созвездьями любовался. Вот с тех пор и прилипло к нему – Звездолуб. Скуластый, бровастый, с небольшой курносинкой, открытого нрава и громкого говора – Маковой Литагин отличался пронзительной какой-то, редкой синеглазостью; точно ангел слетел с небес, чтобы людей научить обращаться с ковром-самолётом. Ивашка и раньше встречал Звездолуба – приезжал к родителям в деревню. И всякий раз, когда Подкидыш видел нарядного лётчика – особенно, когда вблизи – сердце блаженно обмирало; смотрел, не мигая, почти не дыша. И где-то в подсознании Подкидыша всякий раз невольно отмечался тот странный факт, что вся родня Литагиных – от мала до велика – в земле копаются, в навозе. А Звездолуб – с малолетства задира и неслух – взял да в город уехал, чтобы выучиться на лётчика, который дерзновенно ходит-бродит по облакам и около ясного солнышка, ясного месяца. «Наверно, он тоже подкидыш! – думал Ивашка. – А иначе в кого он такой?»

Заметив парня, Звездолуб остановился и начал расспрашивать, куда Ванюха лыжи навострил.

В руке на отлёте поднебесный «ангел» по-щегоольски держал тёмно-голубую новую фуражку из чистошерстяной материи на шёлковой подкладке. Двубортный тёмно-голубой костюм был подогнан по фигуре Звездолуба. Ослепительно-белая сорочка, чёрный галстук, чёрные полуботинки – всё было идеально чистым, выглаженным. «Жених!» – говорили про Звездолуба, холостяка со стажем.

Собираясь отойти от земляка, Литагин поинтересовался, какой у него номер рейса и подмигнул:

– Со мной полетишь. Прокачу с ветерком.

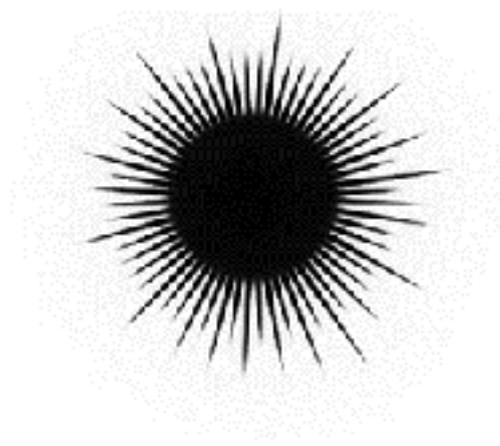
После этой встречи Подкидыш приободрился – возвратилась прежняя уверенность в том, что он всё правильно затеял. Надо брать пример с таких, как этот дерзновенный Маковой Литагин.

Волшебный «ковёр», на котором предстояло воспарить, – самолёт Ту-134 – в просторечии назывался весьма прозаично: «Свисток», «Стиляга» и «Туполёнок». В ту далёкую пору это

был один из самых знаменитых пассажирских лайнеров – первый реактивный самолёт родного Отечества.

Простован по-мальчишески был восхищён этим лайнером, таким роскошным, таким огромным: между креслами ходила симпатичная девица в синей пилотке – стюардесса, раздававшая леденцы.

Сжигая чёртову уйму керосина – как это всегда происходит на форсаже – Ту-134 пронзил облака, укрывающие небо над аэродромом, и Простован увидел «вторые небеса», солнечные, гладенькие, сияющие лазурью, которая бывает лишь на картинках. Приподнимаясь, парень посмотрел в иллюминатор и ощутил сладко-леденцовый холодок под ложечкой. Самолёт, напрягаясь могучими жилами, взлетел уже настолько высоко, что земля затуманилась где-то внизу. В слезинки превратились озёра на полях. Гордые горы присели-присмирели, бугорками скромными прикинулись. Зелёная долина, как скатерть-самобранка, в лоскуточек скрутилась. Деревни, сёла, города – всё стало детской забавой с той высоты, с которой на землю смотрит сам Господь Бог.



Глава четвёртая. Похождения по Стольнограду

1

Стольноград поразил, покори́л высотой и размахом, буйством красок и обилием народа. Простован шагал с улыбкой, ротозейничал направо и налево, напрочь забывая, зачем он тут находится. Он любовался, охая и ахая, качал кудрявой головой, потылицу почёсывал, задирая глаза в небеса – белокаменные терема закарabкались до самых облаков. Чистое золото полыхало скирдами на куполах, которым нет числа. И звонари на колокольнях – колокольники – то здесь, то там трезвонили во всю ивановскую, будто приветствуя Ивана Простована. Развесёлый этот перезвон, от которого уши зудели, напоминал деревенскую кузницу, и поэтому Стольноград показался давно уже знакомым, почти родным.

По-утреннему бодрый, по-юношески самоуверенный Ивашка останавливал прохожих, расспрашивал, где найти такой-то и такой-то адресок. И вдруг ему сказали: такого дома нет.

– Да как же нету? – Подкидыш опупел. – Да вот же адрес!

– Нет, – спокойно ответила какая-то шляпа. – Этот дом сгорел, да-да. Сгорел ещё в ту пору, когда война была с Наполеоном. Так что вы маленько опоздали.

– Во как! – Ивашка удивился. – А когда была война?

– В 1812 году. – Глаза под шляпой заискрились. – Изучайте родную историю, молодой человек.

Начиная теряться, робея от шумной и горластой жизни, наперегонки бегущей мимо, Ивашка опять и опять норовил кого-нибудь за пуговку поймать – остановить, расспросить. Только от этих расспросов голова уже кругом пошла: один доброхот горячо советовал направо повернуть, второй налево, а третий пальцем тыкал куда-то вдаль, где виднелись холмы под названием Орлиные Горы. Привыкший верить на слово, Подкидыш вскоре понял, что заблудился в этом Стольнограде как в лесу дремучем.

И тут же он увидел здоровенный пенёк; рабочие с утра занимались благоустройством – дремучее дерево свалили бензопилою, расчекрыжили на чурки и увезли куда-то, а пенёк остался. Подкидыш рукой огладил медово-желтоватый широкий блин, на котором запеклись годовые кольца – не пересчитать.

«Интересно, что это? Липа? Или дуб? – Он принюхался к древесным опилкам, посмотрел на годовые кольца. – Старое дерево было. Сто лет, если не больше. А самое наидревнее – дед говорил – растёт в Якутии. Лиственница. Ей почти девять сотен годов. Вот как долго деревья живут! А человек? Раз, два и готов. Ну, да ладно. Нужно думать, как найти. Куда пойти? Сюда? Или туда? Вот понастроили!..»

Сидя на пеньке, он пригорюнился, глядя на пестроту и суету проспекта. Душа провинциала с непривычки задыхалась. Свежего воздуха мало, а ветер вообще сюда забыл дорогу. Повсюду гранитные глыбы с окошками, с пещерными дырами подъездов – глыбы, глыбы до небес. Повсюду под ногами камень да асфальт – живую землю тут не сразу и найдёшь. А народу, народу кругом – как мурашей в лесу на мурашейнике. И весь этот народ такой же деловой и озабоченный, как миллионы деловых мурашей – каждый своё «бревно» куда-то волочёт, то и дело натываясь друг на друга. Где тут кого найдёшь? С ума сойти...

И вдруг он содрогнулся – голос по-над ухом почудился:

– Вставай, иди сюда!

Бестолково посмотрев по сторонам, Ивашка не увидел того, кто говорил. А голос тем временем раздался опять. И тогда, решив не удивляться, Простован пошёл туда, куда подсказывали – и вскоре очутился на пороге редакции.

Каменное крыльцо показалось таким высоким – аж голова закружилась. Ивашка так разволновался, даже давление подскочило и перед глазами замельтешила мошकारа – толкунцы, которые толкутся в дремучем таёжном воздухе. И вдруг эти самые «толкунцы» стали уплотняться и темнеть. Столб мошकारы удлинился, приобретая форму человеческой фигуры. И оттуда, изнутри, послышался голос:

– Иди, не трусь, я помогу!

2

Кабинет был тесный и прокуренный. За грубым, но крепким столом, над которым возвышались серые стога исписанной бумаги, сидел интеллигентный, тихий человек с квадратными глазами – роговые очки занимали почти половину лица. Звали человека – Антигер Солодубыч Ардолионский, но больше он был известен, как «Ардолион, который бреет уши». Странную шутку сыграла с ним природа-матушка – волосы дико росли на ушах, разрастались такими кустами, что через день да каждый день приходилось уши брить до синевы, до глянца. А вскоре приключился анекдот. Издатели поехали на отдых, на пленэр, славненько отметили своё событие, загуляли на несколько дней, заколобродили, и Ардолионский превратился в дикобраза – уши такие лохматые, просто жуть. И до того он был пьяный в ту пору, что выкинул неожиданный фортель: на четвереньках подошёл к директору издательства и стал ушами чистить башмаки. Начальник в первую минуту офонарел – глаза увеличились как фонари. А затем оценил работёнку чистильщика. И после этой поездки Ардолионский, человек довольно sereneкий, стремительно пошёл на повышение, используя свою оригинальную методу – мохнатыми ушами надраивать обувь начальства.

Вот так он добрался до этой солидной должности – литконсул. Неблагодарная должность, нужно заметить. Пахоты всегда невпроворот – графоманы идут и едут со всей страны. Вот почему Антигер Солодубыч, давно уже залитературканный в этой редакции, был слегка рассеян, раскосмачен. Кривоватый нос потел – квадратные очки постоянно съезжали, и потому их пришлось посадить на привязь: цепочки к дужкам прикреплены. На плечах Ардолионского, как на вешалке, болтался потёртый пиджак, пошитый из кожи стародавнего какого-то крокодила или козла. Рукава белой помятой рубахи поблёскивали запонками – стразы, дешёвая подделка под бриллиант. И такой же «слегка брильянтовый» был воротник, засалено блестящий на худой, но жилистой шее. Чёрный галстук присыпан перхотью табачного пепла. На левом ухе белеет полоска пластыря – неудачно побрил спозаранку, торопился в редакцию.

С удивлением и почтением разглядывая залитературканного человека, Подкидыш робко покашлял возле порога и пролепетал негромкое приветствие.

Не замечая гостя, Ардолионский вдохновенно что-то строчил автоматической ручкой, время от времени поправляя странные квадратные очки, то и дело съезжающие на кончик загнутого носа. Трудился Антигер Солодубыч, как видно, уже давно, и при этом остервенело садил сигареты – одну за другой. И накурено было уже до того, что в дыму по-над столом висел топор, поблёскивая отточенным лезвием, напоминавшим новорождённый месяц. И настолько это было дико – топор на дымном облаке – Ивашка глазам не поверил; пугливо смотрел и томился.

И неизвестно, сколько пришлось бы так томиться, но тут на выручку пришёл незримый дух – Незрима, который несколько минут назад сказал: «Иди, не трусь!» Незримый дух откуда-то сбоку – будто из двери соседней комнаты – неожиданно гаркнул:

– Ардолиоша! Это к вам!

Залитературканный товарищ содрогнулся, как лунатик, авторучку едва не выронил. Он подумал, что крикнули из соседнего кабинета, через который обычно проходят посетители.

Правда, голос показался незнакомым. Антигер Солодубыч снял квадратные очки, протёр глаза с кровавыми прожилками от бессонницы.

– Милости прошу. Располагайтесь.

Смущённый незримым голосом и тем, что на него наконец-то обратили внимание, посетитель присел на краешек тёмного стула, отлакированного задами многочисленных посетителей. Несколько секунд он молча, стеснительно, осматривался. Какие-то лобастые портреты на стенах проступали сквозь дымовую завесу. Чугунный, до пояса отлитый дядька – в шляпе с бакенбардами – металлическим взглядом сверлил посетителя. Книги стройными рядами-кирпичами красовались за стёклами шкафа – под потолок.

– Ну, и что же нам принёс наш юный гений? – заговорил литконсул. – Стихи? Я угадал?

– Ага, – промямлил посетитель. – Это самое.

– Не мудрено, – задушевым голосом ответил Антигер Солодубыч. – Скажите, а почему вы решили писать стихи? Не прозу. Не драматургию. Вы решили быть поэтом, да? А почему?

– Не знаю, – снова промямлил Подкидыш и вдруг добавил то, что ему было подсказано незримым духом: – Поэт, вот единственно достойный человек. Так Шиллер мне сказал...

Квадратные очки литконсула медленно поехали по влажному носу, будто по маслу, и упали на грудь, – заплясали на блестящей цепочке.

– Шиллер? – пробормотал он, машинально потрогав левое ухо, где белела полоска пластыря. – А больше вам ничего ни Шиллер, ни Шекспир не говорили?

– Не знаю. Нет покуда.

– Ну, ладно, подождём-с! – снисходительно улыбнулся литконсул, приходя в себя после короткого замешательства и раскрывая школьную тетрадку. – Так, так... А вот вы пишете, в кузне работали. Хорошее дело. Зачем же бросили?

– Жениться думаю. – Подкидыш смущённо шмыгнул носом. – Там всё прописано. Вы почитайте.

В кабинете стало тихо на минуту-другую. Где-то за окошком голубь ворковал. Дымок от сигареты, забытой в пепельнице, сизым хвостом поигрывал, вытягиваясь к форточке.

– Прекрасно! Восхитительно! – «Ардолион, который бреет уши» хохотнул, шурша страницами школьной тетрадки, а вслед за тем как-то незаметно для посетителя снял топор, висевший на дымном облаке, и неожиданно размахнулся. Да так широко размахнулся, чертяка, – юный гений голову едва успел убрать...

Топор тихонько свистнул по-над ухом и откусил от школьной тетрадки – точно кусок бересты отлетел.

– Ой! – Подкидыш за сердце схватился. – Зачем вы так?

– Только так! – Антигер Солодубыч посмотрел на него глазами твёрдыми, как два алмаза. – Краткость – сестра таланта. Не знаете, кто это сказал?

Обескуражено глядя на пол, где валялись обрубки нежно-розовой бересты, Подкидыш пожал плечами.

– Так это вы мне сказанули тока что.

Затянувшись сигаретой, литконсул расхохотался и опять повесил топор на дымное облако. И теперь уже топор не казался Ивашке безобидным молоденьким месяцем – топор блеснул широкою зловещею улыбкой, похожей на улыбку палача.

– А ты откуда будешь? – начиная «тыкать», мимоходом поинтересовался Ардолионский, читая рукопись, на которую сыпался пепел. – А на чём? Самолётом? А не дорого?.. Ну, так и овёс теперь подорожал! – Антигер Солодубыч нахмурился. – Вот здесь ты пишешь: голая она... Девица, как её?

– Златоустка, – подсказал сочинитель, краснея. – Она была – в чём мамка родила...

– Это, братец мой, нехорошо. Это, можно сказать, не комильфо. Надо её приодеть. Что говоришь? Так было? Ну, мало ли что было. Жизнь – это одно, а поэзия – это другое.

Подкидыш подавленно глазами ковырял истоптанный паркет. И вдруг опять Незримый дух прошептал на ухо, а парень повторил:

– Жизнь – это и есть самая великая поэзия.

«Ардолион, который бреет уши» икнул от волнения. Лоб у него взопрел, очки поехали по носу, как по маслу и опять упали, болтаясь на цепочке. Он растерянно смотрел на Простована, не мог понять. «Как это так он сказал и при этом даже рот не распечатал?! – изумился Антигер Солодубыч. – Или это чревовещатель? Или я не выспался? Третью ночь уже...»

Литконсул рассердился, интуитивно чувствуя, что его дурачат. Да и в самом деле, как этот парень, лапотник, внешне выглядевший простачком, мог выдавать такие глубокие мысли? А главное – откуда ему, этому лапотнику, известны цитаты великих людей, цитаты из книг, которые даже сам литконсул только недавно пролистал, но пока ещё не прочитал.

– Девку надо приодеть! – Ардолионский потыкал пальцем по тетрадке. – И вот здесь надо поправить. И вот здесь. И вообще... – Литконсул покашлял в кулак, похожий на копыто. – Хочешь, скажу откровенно? Как мужик мужику. Бросай писанину. Возвращайся на кузницу.

В кабинете повисла тягучая тишина.

– Я перестану писать, когда перестану жить! – угрюмо повторил Подкидыш подсказку незримого духа. – Это Петрарка мне сказал.

Зажжённая сигарета выпала из пальцев Ардолионского. Он ошарашено уставился на парня. Затем как-то медленно, как во сне посмотрел по сторонам. Литконсулу вдруг казалось, что этот парень говорит не то, что думает, а то, что ему кто-то внушает или подсказывает. Но в кабинете было пусто, да и вообще – что за глупости в голову лезут. «Кто это может ему подсказывать? Парень просто-напросто верхушек нахватался...»

Взволнованно пройдясь по кабинету, Антигер Солодубыч спохватился и поднял окурочек – ожесточённо раздавил в чёрной пепельнице. Затем какой-то справочник открыл, полистал, поплёвывая на пальцы.

– Да, – прошептал, – действительно, Петрарка. Ты что, читаешь много?

– Да как вам сказать? У деда на печке, как в библиотечке...

Миролюбиво разговаривая с гостем, Ардолионский – ничуть не хуже Цезаря – продолжал читать «берестяную грамоту», мимоходом чиркал зажигалкой, чтобы прикурить, чиркал авторучкой, чтобы исправить ошибку или строку погубить. Но самое главное – он как бы между прочим время от времени брал топор, висящий на дымном облаке. Заточенное лезвие, как молния, взлетало над головой – только клочки летели по закоулочкам, будто белые голуби с той голубятни, которая осталась в далёкой родной деревне.

Незримый дух раза три шептал на ухо Подкидышу: уходи, мол, тут нечего делать, но парень уже закусил удила – характер начал выказывать. И тогда Незрима отступился: «Делай, как знаешь, только уже без меня!» И результат получился печальный. В правой горсти зажимая бедное своё, «изрубленное» сердце, а в левой унося то, что уцелело после топора безжалостного косматого чёрта, Подкидыш куда-то поплёлся по каменным джунглям, уже накаляющимся – ни облачка в тот день на небесах.

3

Стольноград уже мало радовал – давил и унижал своим величием, гордым равнодушием вековых камней, толкотнёй, трескотнёй. Теряя уверенность в этой сумасшедшей круговерти, Ивашка довольно скоро притомился. И главная усталость была не в теле – душа изматывалась. Перед глазами рябило от пёстрого мелькания, от суеты. А кроме этого – сказывалось полное отсутствие природы, если не брать во внимание хилые садочки за железными оградами, клумбы с картинными цветами, словно из бумаги или из бархатных цветистых тряпочек, на которые никакая пчела не позарится – нету медовой пыльцы, только пыль придорожная.

Однако же характер есть характер – не переделаешь. Настырно шагая по нагретым камням, он остановился возле небольшого, импозантного дворца, перед которым серебряно журчал и отфыркивался фонтан, украшенный голыми девицами, закаменевшими, правда, но всё равно смущающими провинциала. Он достал бумажку с адресом. Этот адрес пареньку любезно предоставил Ардолионский: сходите туда, сказал, загадочно улыбаясь, там любят юных гениев.

Потоптавшись у фонтана, Подкидыш покосился на голые фигуры. «Тот, который бреет уши, всех одеть готов. А эти стоят хоть бы хны!»

Издательство, куда он притащился по жаре, располагалось в добротном особняке, недавно отреставрированном; кругом лепнина, стройные колонны толстыми берёзами белели перед входом. И тут же – неподалёку от двери виднелась чья-то свежая надпись, сделанная чуть ли не гвоздём: «Здесь жили графья, а теперь графоманы!»

Переступив порог, Подкидыш постоял, озадаченно озираясь. Под круглыми сводами с позолотой рисунков витал бесперебойный перестук и перетреск печатных машинок, похожих на дятлов с железными клювами. Горький опыт подсказывал: надо пробиваться к самому главному – иначе снова можно башку поставить под топоры.

«И где тут главный граф или этот, как его, главный графоман?» – покручивая жидкий ус, Подкидыш призадумался на деревянной лестнице, где в пузатых кадучках росли заморские деревья с большими волосатыми лапами. В металлической клетке, висящей между деревьями, томилась какая-то несчастная жар-птица, давно уже разучившаяся не только петь – летать. Взглядом задержавшись на этой бедной птахе, парень ощутил неодолимое желание выпустить её на волю.

– И что мы тут делаем? – Певучий голос эхом разлетелся под круглыми сводами.

Он повернулся и увидел роскошную разодетую женщину. Диадема в чёрных волосах слепила, отражая солнце. Ожерелье на груди сияло, колыхаясь в такт глубокому дыханию. Смущённый женскими чарами, Подкидыш пробормотал:

– А зачем у вас курица в клетке?

Женщина засмеялась, потрясая золотыми серьгами в ушах, жемчужным ожерельем на грудях футбольного размера.

Это была Катрина Кирьяновна Василисина, директриса крупного издательства. Василиска-директриска, так её прозвали за глаза. Она была здесь на положении царевны или королевы, перед которой многочисленные холопы, проходящие мимо, трепетали и заискивали. Матёрые мужики подобострастно шляпы снимали, фуражки срывали едва ли не с волосами, раболепно кланялись и порой с такой натугой улыбались, точно гири в зубах поднимали. Катрину Кирьяновну не только уважали, но и побаивались. Василиска-директриска держала себя на высоте. Женщина суровых правил, она даже маленько перебарщивала по части нравственности; в книгах, выходящих в её издательстве, героям приходилось чуть ли не в телогрейках и ватниках мыться в бане и ложиться на брачное ложе. И никому никаких послаблений Катрина Кирьяновна не давала. А когда один какой-то шибко грамотный писака притащил сочинения какого-то Баркова или Бардакова, в которых действовал Лука Мудищев, тогда ещё мало известный своими сексуальными похождениями, Катрина Кирьяновна так шуранула грамотея с лестницы – бедолага и руку, и ногу сломал, и получил сотрясение мозга. Вот такая женщина была. Образчик, можно сказать. На монетах и медалях можно было бы печатать её портреты. Правда, у этой медали была ещё вторая сторона. Если бы кто-то когда-то хоть одним глазочком заглянул в пятикомнатную квартиру этой дамочки, сильно был бы изумлён или шокирован. Стены в комнатах и в залах были совершенно голые – в том смысле, что повсюду красовались голые красавицы и голые красавцы. А в спальне – в будуаре, как говорила Катрина Кирьяновна – можно было увидеть коллекцию различных фаллосов, изготовленных из дерева, бронзы и чугуна. А в потолки и в стены будуара были встроены большие зеркала –

для возбуждения весёлой похоти. Эта была потаённая слабость Катрины Кирьяновны. И эта слабость не только не смущала – возвышала в собственных глазах. Хорошо начитанная, двумя или тремя институтами образованная, Василискина знала родную историю. Знала, что царица Екатерина тоже была слабовата по части мужчин. Императрица, пользуясь неограниченной властью, выбирала себе мужиков, как жеребцов на ярмарке. И Василискина последовала этому примеру. Много лет уже работая с молодыми авторами, она поднаторела в выборе племенных пегасов, которые под покровом ночи приходили к ней и до утра усердно расшатывали стойло. И всё как будто было шито-крыто, потому что директриса в своём издательстве никогда своих пегасов не печатала – любовников она пристраивала в другие издательства, где работали благонадёжные друзья-товарищи. Правда, слухи всё-таки просачивались – шила в мешке не утаишь, но, в общем-то, всё было покрыто мраком тайны. И потому для многих – после революции и после Гражданской войны – было потрясение и шок узнать о том, что директриса, эта блюстительница нравов, хозяйкой борделя заделалась в городе Лукоморске.

Но, слава Богу, революцией пока не пахло – пахло ароматным, свежесваренным чаем, который стоял на журнальном столике в кабинете. Вальяжная, властная Катрина Кирьяновна с потаённой любовью разглядывала провинциального гостя. Ивашка, петухом расшитая рубашка, понравился ей. А когда она узнала, что этот парень, кровь с молоком, успел поработать на кузнице, где работать могут только сильные духом и телом, – глаза директрисы игриво сверкнули, будто облизывая юного гения.

– И что вас привело сюда, Ивасик? – заворковала директриса. – Чем я вам могу помочь?.. Ах, стихи! Мы пишем стихи? Похвально, похвально. Я стихи люблю. А ты где, Иванушка, остановился? Нигде пока? Давай-ка мы, дружок, с тобою так договоримся. Мне сейчас некогда, бегу на совещание. Ты, может, здесь меня подождёшь? Нет? Ну, вот тебе мой телефон, вот адрес. Ты позвони мне вечером. Договорились? Только обязательно. Мы с тобой чаю попьём, стихи читаем. Я могла бы тебя отвести в кабинет своего литконсула...

– Я уже побывал в таком кибинете, – уныло признался Подкидыш.

– Ну, вот видишь, мы друг друга поняли. Так что обязательно позвони. Хорошо? Ну, пойдём, Ивасик. Я на машине. Может, куда подвести? По магазинам или на выставку. Или можешь просто покататься часок-другой. Посмотришь, полюбуешься. Ты в Стольноград впервые?

Машина была «Волга» – роскошь по тем временам. Подкидыш, как фон-барон, развалился на переднем сиденьи, ротозейничал, глаза по сторонам. Интересно было колесить по проспектам и улицам, только не за этим он прилетел сюда. И потому фон-барон попросил шофёра остановиться возле какого-нибудь издательства.

Ощущая удивительную смелость, уверенность в себе, появившуюся после катания, фон-барон пришёл в просторный кабинет, где сидели три-четыре человека. Руководствуясь печальным опытом, фон-барон первым делом обратил внимание на то, что в кабинете не накурено – топор под потолком не висел, не скалился широкою зверской улыбкой. «Уже хорошо», отметил Подкидыш. Однако люди в кабинете так не думали.

– У нас вообще-то обед, – проблеял худосочный работник, длинной бородой похожий на козла.

– Да ладно, проходите, – великодушно сказал кто-то в углу, – мы всё равно здесь обедаем.

И тут Подкидыш обратил внимание, что на столах, заваленных бумагами, стояли большие тарелки с капустой.

Продолжая справлять свою скромную трапезу и одновременно читая провинциальные перлы, издательские работники стали беседовать с посетителем. И надо сказать, что беседа с самого начала не заладилась. Закатывая очи к потолку, издатели говорили что-то по поводу рифмы, ритма. А тот, что был похож на бородатого козла, несколько раз даже больно боднул под самое сердце.

– Ямбом написано. Полный ямбец! – он восхищённо цокнул языком. – А это анапестом. Анапестец!

– А это что? – спросил другой, ковыряя спичкою в зубах. – Амфибрахий? Мать его...

Подкидыш кулаки в карманах стиснул.

– Я же к вам пришёл, как к людям. Зачем же лаяться? Сначала в кабинете все притихли, не считая мухи под потолком. А затем кто-то прыснул в углу.

– Пардон! – серьёзно и даже торжественно проблеял бородатый козёл. – Мы больше не будем, Ваня. Но вот вопрос: как быть нам с нашими классиками, которые лаются то анапестом, то амфибрахийем, то хореем понукают почём зря. Как с ними-то быть? Не подскажите?

В общем, и здесь Ивану-царевичу накостыляли так, что он почувствовал себя Иваном-дураком.

– Читайте побольше, – давали советы. – «Муму» одолейте, за «Каштанку» возьмитесь...

Кровь от лица Подкидыша отхлынула, а глаза сделались красными от переизбытка давления. Он весь кипел, негодовал. И вдруг под его раскалившимся взглядом зашевелились кое-какие предметы и вещи – был у него такой фантастический дар, проявлявшийся редко, но метко; не только подковы, бывало, летали по кузнице, но даже и молот пешком похаживал. Вот и здесь такое началось. Вначале тарелка с капустой поползла по столу и со звоном раздалась, приводя в изумление кабинетных козлов. Затем на книжной полке – наверху – зашевелились кирпичи в собрании сочинений какого-то классика. Два или три кирпича вдруг обрушились на голову бородача-козла.

В кабинете воцарилось жутковатое молчание. В первую минуту не могли понять, в чём дело. Землетрясение, что ли? А потом все посмотрели на Подкидыша – кто-то с ужасом, кто-то с мольбой. А он с каждой секундой входил во вкус, точно пьянел, чувствуя, как раскалённая кровь бросается в голову. И вот уже по всем столам, – а затем уже по полу и даже потолку – поползли авторучки, блокноты, корзины для мусора, сумки и портфели, башмаки...

Опомнился Ивашка уже на улице, на оживлённой стремнине. Кругом пестрело и мучительно мычало целое стадо автомобилей – красномордые, чернорожие, белые, серые, пегие. Не отвечая на ругань, камнями летящую со всех сторон, потихоньку уволокся с проезжей части. Заметил кровь – из носа капала на обувь, на рубаху. Зажимая нос, побрёл куда-то, инстинктивно стараясь отыскать затенённое место. Наткнулся на фонтан. Умылся. Посмотрел на воробья, сидевшего с той стороны фонтана и воровато глотающего воду.

– Захворал воробышек, да и стал хворобышек, – пробормотал Подкидыш, вспоминая колыбельную песенку. – Да пропадите вы пропадом...

Выспрашивая дорогу у прохожих, он поплёлся в сторону вокзала и вдруг ощутил нехорошую лёгкость в кармане, в том самом, где были деньги. Уже почти догадываясь, но ещё не веря, Подкидыш торопливо порылся в карманах и обомлел.

«Хана! – заунывно зазвенело в голове. – Ведь говорил же дед! Надо было прятать, зашивать. Ох, ёлки! Ну, что мне теперь? Топиться в этом фонтане с голыми девками? Когда и где украли? Ищи теперь, свищи...»

Зубами скоргоча от злости и обиды на весь белый свет, парень поплёлся куда-то, надеясь поскорее выйти в чистополье, чтобы там – вдалеке от козлов и чертей – упасть на траву, на цветы и поплакать, волчонком повить на луну. Да не так-то просто было вырваться из каменных джунглей. «В настоящем лесу все деревья мохом обросли на северной стороне, а все южные склоны покрыты густой травой да кустарником, – думал Подкидыш. – Я сколько бродил по тайге, а ведь ни разу не заплутал. А в каменных джунглях – пожалуйста. Хоть башкой об стены колотись. Да ещё это адское пекло...»

Глава пятая. Черновик и Музарина

1

Сусальное золото с куполов по капельке сочилось, янтарной смолой сползало с колоколен. От жары изнемогали не только люди, птицы и деревья – бронзовый какой-то памятник на площади до того размягчился, даже руки по швам опустил, бронзовую шляпу на землю обронил. От полуденной жары трещали камни на мостовых. Жестокий солнцежар сожрал почти все тени возле домов и деревьев – негде укрыться. Только одно тенистое мелкое рваньё лежало под кустами, под фонарным столбом. Раскалённый воздух, свирепый как пчела, позванивал под ухом и норовил ужалить даже сквозь одежду. Мороженое в тот день и в тот час пользовалось необыкновенным спросом, да только вот беда – шоколадные и сливочные брикеты очень скоро таяли в руках, сладкими струйками стекая под ноги. Газированная вода в автоматах сделалась похожа на приторный чай. А желтопузые бочки, на которых написано «Холодный квас», до того нагревались, хоть пиши – «Кипяток».

Наклоня голову, точно болванку, зажатую калёными клещами, юный гений побито поплёлся вдоль берега мутной, малоподвижной реки, зеленоватой местами, а кое-где заржавленного цвета. Белыми лилиями там и тут виднелись рваные бумажки, стеклянными поплавами торчали бутылки. Река эта, почти убитая людьми, придушенная гранитными берегами, на солнцепёке дышала такой благовонностью – ни напиться, ни утопиться, ни искупаться, по крайней мере.

Зверская жара, да плюс ещё издательские черти, измордовавшие парня, да ещё потеря денег – всё это сделало своё чёрное дело. Давление подскочило – вертикально вздувшаяся жила перечеркнула широкий и высокий лоб юного гения. Большие синие глаза с туманной поволокой сделались какими-то задымленными. Заунывный звон по-над ухом стал рассыпаться, точно тройки с бубенцами проносились где-то по берегу. В глазах зарябило, затем потемнело. Он опустился на камень возле реки и застонал, обхватывая голову руками.

И вдруг по-над ухом почудился голос – уже знакомый:

– Крепись, Иван, крепись!

Он содрогнулся. Часто-часто моргая, осмотрелся, но никого не увидел, только одинокая пчела жужжала, проверяя пыльные чашечки цветов, да воробей с открытым клювом под деревом сидел, полоумно глядя на человека.

«Померещилось...»

Но через несколько секунд голос повторился.

– Кто здесь? – тихо спросил Подкидыш, глядя в пустоту. – Вы где?

– Я рядом. Не видишь? А ты в ладоши три раза хлопни, и я перед тобой – как лист перед травой.

Поначалу он хотел отмахнуться от такого совета, какой бывает в сказках, а затем – почему бы и нет! – вяло хлопнул.

И тут же неподалёку замаячило небольшое чернильно-грозное облако, сквозь которое просвечивало солнце. Подкидыш зажмурился. А когда опять открыл глаза – тёмное облако обернулось черномазым стариком, который потоптался лаптями по воздуху и плавно опустился на бледно-зелёную травку. «Не может быть!» – Ивашка опять зажмурился.

А старик тем временем слегка поклонился и потрянул головой:

– Позвольте представиться. Старик-Черновик. Чернолик. Оруженосец от литературы. Ваш покорный слуга. Азбуковед Азбуковедыч. Абра-Кадабрыч. Пушкин меня звал Абрам Арапыч. Достоевский говорил, будто я похож...

Винегрет из имён перемешался в голове Подкидыша, только имя Пушкина знакомо зазвенело.

– Пушкин помер, – прошептал он, сам уже готовый умереть от жары.

Черноликий старик погрозил указательным пальцем, испачканным химическими чернилами.

– Классики не умирают, молодой человек. Это, во-первых. А во-вторых, я же не сказал, что это было вчера. Это было при жизни Солнца русской поэзии. Видишь, как я загорел под этим солнцем. Так загорел, что меня эфиопом считают.

Голова у Подкидыша так разболелась, что каждое слово молотком по голове стучало.

«Что он болтает? Пьяный, что ли?»

Абра-Кадабрыч ухмыльнулся, и что-то сверкнуло во рту у него.

– Кто? Я? Да ни в одном тазу! – твёрдо заявил он. – Я с тобой хотел маленько тяпнуть. По случаю знакомства. – Старик-Черновик покопался в кармане и вытащил флакон с химическими чернилами. – Ну, так что, Иван-царевич? Со свиданьем!

Простовану чуть дурно не стало, когда посмотрел на чёрный флакон.

– Вы пьёте эту гадость?

Запрокинув голову, черномазый рассмеялся, и во рту полыхнул крупный зуб, напоминающий золотое перо от самописки.

– Ну, ты меня расхохотал. Шуток, что ль, не понимаешь? Да я бы давно уже сдох от чернил. – Помолчав, старик вздохнул, мечтательно глядя куда-то за реку. – Пушкин меня шампанским угощал. Лермонтов винишком на Кавказе баловал. Гоголь, тот всё больше горилку предлагал, да сала шмат. Представляешь, парень, если бы я с каждым классиком квасил? Я – Старик-Черновик – до белой бы горячки докатился. И тогда уж точно бы чернила пил как конь на водопое в такой вот жаркий полдень. Ха-ха. Ну, пошли отсюда. Пошкандыбали. А то плохо мне на солнце, Ваня. Прямо скажем, хреново, сынок. Я же всё время прячусь в тени. В большой тени от гения. Нет, нет, ты не подумай, я не жалуясь. Такая моя планида. А ну-ка, пойдём вон туда...

Оруженосец поманил его куда-то вдоль берега, и вскоре они оказались у голубовато-сизого, уютного заливчика, откуда потянуло свежим воздухом, напоминающим разрезанный арбуз.

2

Неподалёку в тени деревьев жаворонком журчал питьевой фонтанчик, искусно вмонтированный в камни. Подкидыш умылся, напился и почувствовал себя гораздо лучше. И только тогда взялся внимательно рассматривать оригинального оруженосца от литературы.

Старик-Черновик был похож на средневекового странствующего рыцаря в чёрном плаще, на котором красовалась яркая заплата, где поэтической вязью было начертано: «СЛАВЬСЯ», а немного пониже, другим уже почерком: «НАРОД-ЗЛАТОУСТ». В руках оруженосца блестело большущее золотое перо – величиной с карабин. Долговязая борода Абра-Кадабрыча смолистыми волнами сползала к башмакам, пошитым из кожи, годящейся на книжный переплёт. Маленькие чёрные глаза походили на чёртиков, прячущихся под седыми кустами бровей. Глаза довольно молодо, задорно мерцали чернильными кляксами – белков не видно. Крючковатый нос походил на перевёрнутый вопросительный знак. На голове Старика-Черновика разметались курчавые длинные волосы, напоминающие мелко настриженную и помятую копировальную бумагу. Волосы кое-где седина прострочила – серебристыми строчками. А кое-где видна была красная строка – в виде узорной ленточки, какую вплетают себе папуасы, чернокнижники или шаманы.

Солнце, обычно медлительное под небесами, на этот раз как-то очень скоро передвинулось – неожиданно сильно опять засияло – только уже с другой стороны. Солнце так нещадно припекало, что Старик-Черновик временами словно растворялся в потоках слепящего света...

– Вредно мне на таком солнцежаре. – Он ладонью глаза прикрыл. – В небесной канцелярии сказали, завтра будет гроза. Вот это я люблю. Люблю грозу в начале мая... Да и в конце июля тоже... Завтра будет хорошо. Завтра мы с тобою, Ваня, можем заняться культурной программой.

– Завтра я дома буду.

– Ну, это зря. Ты что? Лететь в такую даль только затем, чтобы тебе накостыляли эти козлы винторогие? Ардолионы чёртовы, которые уши не моют, а только бреют. Так не годится. Надо, сынок, по театрам, по музеям, по выставкам...

– Нет! Домой поеду! – уперся Подкидыш, забывая, что денег-то нет, умыкнули. – Как мне скорее отсюда в аэропорт?..

Старик помолчал, не желая парня отпускать.

– Через подземное царство – скорее всего. Что говоришь? Только в сказках бывает? Ну, почему? И тут имеется. И звать это царство – метро.

– Такое маленькое? – удивился Подкидыш. – Не больше метра?

Азбуковед Азбуковедыч улыбнулся.

– Со мной не пропадёшь. Я ведь волшебник. Это царство чуть больше метра, а мы сделаем вот что, сынок, ты только слушайся.

Они подошли к подземелью, где горела красная буква «М». Волшебник заставил Ивашку зажмуриться, а когда он снова открыл глаза – Азбуковедыч был уже без чёрного плаща и без золотого пера величиной с карабин. Теперь он был одет без затей, как простецкий гражданин своего Отечества; серый пиджак и тёмно-серые штаны, растоптанные туфли, похожие на лыковые лапти. И через минуту-другую они со свистом помчались в вагоне подземного поезда. Это была первая поездка Простована по лабиринтам изумительного царства. На остановках, на станциях всё блестело, сияло, арочные своды поражали высотой и размахом...

Благополучно вынырнув из подземного царства, они пошли по каким-то сонным закоулкам, по загогулочкам, где нет асфальта. И, в конце концов, пришли в тихую комнатку, похожую на дворницкую.

– Вы же хотели меня проводить в аэропорт! – удивился Ивашка.

Черноликий старик подмигнул.

– Хочешь поскорее улететь отсюда? Прекрасно! А это чем тебе не самолёт? – Он показал на старую метлу. – Метёт по небу только так...

Подкидыш рассердился и хотел уйти, но вдруг откуда-то – точно из глухой стены – возникла Музарина, Музочка, внучка Старика-Черновика. Муза Вдохновеньевна, так он любовно внучку называл.

Владевшая секретом молодильных яблок, Музарина всегда была изящная, весёлая, с такими золотыми искрами в глазах, которые бывают только у влюбленных. И Подкидыш в ту минуту засмутился, здороваясь. И Музарина зарделась, как зорька.

– Проходите, – пригласила, потупив глаза.

Переступив порог, Подкидыш ахнул. Неказистая дворницкая осталась за спиной, а впереди открылся дивный зал, похожий на библиотеку. На стеллажах от потолка до пола находились книги со всего земного шара, книги, которые Старик-Черновик – не без помощи внучки – писал и переписывал в компании с живыми классиками; так он говорил, по крайней мере. Музарина предложила гостю расположиться в мягком вольтеровском кресле, а сама привычно взялась хлопотать по хозяйству. Простован, ротозейничая, походил по комнате, как ходят босиком по льду – осторожно, пугливо. Жар-птицу увидел – в углу сидела в клетке, переливаясь огоньками цвета радуги. А в другом углу стоял на красной лапе, дремал серый крупный гусак,

из которого Старик-Черновик дёргал перья для повседневной работы, а для чистописания ему необходимо было перо жар-птицы.

– Как интересно, – прошептал ошеломленный гость, когда Музарина пригласила за стол.

Черновик повеселел, заметив, как парень переменился в обществе внучки.

– Чайку сейчас попьёшь, чуточек отдохнёшь, и мы втроём пойдём. Бог любит троицу. Ты, Ваня, был когда-нибудь в театре? Я не говорю – в Большом. Хотя бы в Малом. А? – Старик потыкал пальцем. – Вижу по глазам, что не был. Не беда, Ванюша. Лиха беда – начальник!

– Дедушка хотел сказать: лиха беда – начало, – с улыбкой пояснила Музарина. – Дедушка слова в простоте сказать не может, всё время вывернет...

– Так, так, – охотно поддакнул дедушка, – вывернет как шубу кверху смехом. Итак, что я хотел? А вот что! Надо нам с тобою сходить в театр, посмотреть, как душат Дездемону, или что-нибудь ещё такое же весёлое. Надо развеяться после этих редакционных козлов. После них поэты и прозаики обычно впадают в запой. И запой этот, прошу заметить, совсем не творческий. Ну, а поскольку ты не пьешь – и это замечательно! – значит надо как-то по-другому душу отмывать. Правильно я говорю?

– Дедушка, – с улыбкой спросила Музарина, – ты в театр собираешься идти в таком наряде?

– Пардон. Хорошо, что напомнила. Затрапезу эту я сейчас сниму.

Азбуковед Азбуковедыч скрылся в боковой двери и через несколько мгновений – как фокусник – неузнаваемо преобразился; он даже как будто помолодел в белоснежном парике, в белом фраке, в золотистых башмаках.

– Дедушку теперь зовут Белинский, – подсказала внучка, улыбаясь. – А на самом деле он – Чернышевский.

– Да! Потому что я всё время задаюсь вопросом: «Что делать?» – Старик пытливо посмотрел на парня. – Ну, что вот прикажете делать с этим юным гением? Его ведь тоже надо приодеть. Минуточку. Я, кажется, придумал. Сейчас найду.

– Ого! – Глаза Ивашки засияли, когда увидел новую одежду. – Это что? Это мне?

– Это денди лондонский носил. Тот самый, который легко мазурку танцевал и по-французски гарцевал... – Старик засмеялся, потрясая буклями седого парика. – Ну, то есть, мог изъясняться и писать на языке Вольтера и Гюго.

С неохотой и даже настороженностью парень начал переодеваться и вдруг лицо его – как лицо именинника – озарилось радостью.

– Деньги! – закричал он. – Деньги нашлись! Вот они! За подкладку завалились! Никто их не украл! Все целёхонькие!

– Теперь ты не бедный родственник! – обрадовался Азбуковед Азбуковедыч. – Ах, как это славно, что не обокрали, не облапошили! И дело вовсе не в деньгах. Дело в том, что горько, очень горько, Ваня, в людях разочаровываться. А теперь я снова всем нашим народом очарован, ей богу. Теперь мы смело можем идти к свободе, к свету – к свету театральной лампы! Музарина, Музочка? Ты готова? Идём.

Ивашка впервые тогда увидел свет волшебной театральной лампы – слово «рампа» не скоро запомнил. Театр ошеломил его и поверг в какое-то божественное, почти бездыханное созерцание. Подкидыш плохо помнит, что он смотрел – в смысле автора, в смысле названия и содержания. Зато запомнился восторг, в груди полыхающий так, что рубаха вот-вот задымится.

После театра взбудораженный парень всю ночь заснуть не мог. До утра они проговорили о театральном искусстве, о чудесах, которые можно творить при помощи драматургии. Правда, всё больше старик рассуждал, а парень слушал, делая умное лицо. А Музарина, влюблёнными глазами обжигая парня, какие-то блюда на кухне варганила, угощала напитками, похожими на птичье молоко. Музарина двигалась бесшумно, почти не наступая на половицы разошедшегося

пола. Странная девушка была, словно полувоздушная. Казалось, ветер дунет – и Муза улетит. Сам того не замечая, он любовался Музой, но потом вспоминал про Златоустку и нарочито, даже грозно хмуробровился, изображая ноль внимания и фунт презрения.

Под утро он заснул с улыбкой на устах – ему приснился «Ардолион, который бреет уши»; лысый как дыня, а уши обросли густыми волосьями и стали похожими на уши медведя. Опускаясь на четвереньки, Ардолиоха, охая, вымаливал прощения и косматыми ушами чистил башмаки Подкидыша, а башмаки-то были не простые – бронзовые. Да и сам Подкидыш будто не простой, а бронзовый – памятник Златоусту.

3

Небесная канцелярия опростоволосилась насчёт прогноза: ни капельки дождя не выпало, а вот капель пота было не пересчитать. Денёчек выдался опять калёный, как пропечённый на сковородке, на которой Ивашка опять вертелся, желая пристроить свои гениальные перлы, хотя старик сказал, что лучше этого не делать. В свой поход Подкидыш отправился один – принципиально отказался от поддержки Азбуковедыча, который вознамерился, было, снова сыграть роль незримого духа-помощника. Ивашка заявил, что стыдно и негоже ему, здоровому лбу, за чужую спину прятаться. Старику это понравилось. Но результат был снова неутешительный. Из одного издательства парня с треском вышибли, а в другом чуть не скрутили, чтобы сдать в милицию, потому что парень снова начал фокусы выкидывать – раскалёнными своими глазами передвигал графины и пепельницы, книги и даже стулья. А поскольку там было немало стеклянных предметов – стеклзвону было много-много.

По издательствам парень пошёл с утра – как денди лондонский одет. А вернулся – как обыкновенный горьковский босьяк.

Музочка, влюблённая в него, ужаснулась, увидев на пороге хмурого гения, изрядно помятого, побитого, а местами даже оборванного.

– Примочку надо сделать. – Музарина обеспокоилась, глядя на синий фонарик, цветущий под левым глазом милого дружка.

– Ничего, и так сойдёт. Переживём, перекуём мечи на калачи. Ему было стыдно. Ивашка то и дело хмуробровился, руку с примочкой грубовато отталкивал – по полу капель рассыпалась... Желая потрафить ему, Старик-Черновик взял какие-то бумаги со стола.

– А я тут время не терял. – Он потыкал гусиным пером, поклевал по страничке. – Маленько подработал. Подретушировал. Посмотри. Как тебе? Так, по-моему, лучше.

Подкидыш неожиданно развеселился, но как-то ядовито, желчно.

– Все, бляха-муха, знают, как мне надо писать! Я сам не знаю, а они – эти козлы издательские, а вместе с ними и ты – все знают, как русский Ваня должен писать. А этот Ваня, чтоб вы знали, никому и ничего не должен. И вообще... Пора домой. Делом надо заниматься, а ни этой бумажной хреновиной. Лучше буду на кузнице работать, коней ковать.

– Пегасов обувать? – Черновик ухмыльнулся. – А как насчёт блохи? Может, попробуем? Мне довелось однажды поработать с великим мастером. Помню, поймали блоху на меху...

Затосковавшему парню эта болтология уже приелась.

– У тебя ещё резинка есть? Стирательная... – сердито спросил он, когда Музарина ушла на кухню. – Возьми, пожуй, помолчи маленько.

Азбуковедыч не обиделся, он так и сделал: пожевал, помолчал. Эта покорность парню понравилась, – даже неловко стало за свою несдержанность.

– Поеду, – сказал уже помягче, – дома-то, наверно, потеряли...

– И там потеряли, и тут не нашли, – с горечью вздохнул Абра-Кадабрыч. – Ну, пошли, провожу.

Парень посмотрел на чёрный плащ оруженосца, где сверкала золотая заплатка.

– Не будешь переболокаться? Так пойдёшь?

– Переоденусь, конечно. Мне лишние проблемы не нужны.

– Ну-ну. Кем теперь ты будешь?

– Надо подумать. – Старик посмотрел на серебряный крюк – вешалка сверкала на стене. –

Сегодня вот эта шапка-невидимка больше всего мне к лицу.

– А где эта шапка? А ну, покажи.

– А вот, висит...

– Не вижу.

– Так она же – невидимка, – сказал старик и растворился в воздухе. И тут же дверь перед Ивашкой сама собой открылась. – Прошу! – сказал Незримый дух, посмеиваясь.

Опять они спустились в гулкое, гранитами и мрамором сверкающее подземное царство – метро. Собрались ехать в аэропорт. И вдруг на беломраморной стене Подкидыш заметил такую расчудесную картину – сердце ахнуло восторгом, кровь по мозгам шибанула. «Златоустка моя! Золотаюшка! Похожа, как две капельки...»

Незримый дух, крутящийся неподалёку, прошептал по-над ухом:

– Нравится? Картина-то.

Покрываясь румянцем смущения, парень стоял, молчал, всё ещё не веря, что эту Златоустку он увидел не в окошке – на холсте, на обыкновенной тряпке, можно сказать, или на бумаге.

– Картина? – пробормотал он. – Да так... Ничего...

– Батенька, да вы просто ценитель. Вы истинный дока. – Незрима хохотнул. – Это, между прочим, мировой шедевр. Ну, конечно, не подлинник, репродукция. А если хочешь, подлинник посмотрим.

– А по морде не дадут, если будем подсматривать? – спросил Подкидыш, глядя на полуобнажённое изображение. – А то я однажды на заимке возле бани...

Незрима по-над ухом почти всю дорогу насмешничал, покуда они ехали до какой-то Большой Художественной Галереи. И там, среди картин, одетых в золотой багет, Незрима потешался, то и дело зубоскалил, предупреждая парня, чтобы тот был поосторожней возле голых картин. А их там собралось немало – как специально выставили из запасников. Там тебе и голая «Венера» Боттичелли, и пышногрудые, толстозадые женщины Рубенса, и соблазнительные «Большие купальщицы» Ренуара, и всякая другая до бесстыдства обнажённая натура, которую тут обзывали коротко и скромненько – «ню».

– Ню, что? – надсмехался Незрима, отталкивая парня от картины. – Ню, отойди. Осторожно подсматривай, а то по мордасам схлопочешь.

– Да ладно, сколько можно...

– Нет, я серьёзно. У меня однажды был конфуз. Джоконда, Мона Лизка прямо в лоб заехала.

– Кто? Вот эта? – Парень замер возле Моны Лизы. – Так она же одетая.

– Вот в том-то и дело. Одетая баба, но гордая. Меня, говорит, сам Леонардо да Винчи писал, а ты, говорит, заплатил десять копеек, а глазеешь на цельный червонец! Ха-ха... – Незрима тихонько потянул за рукав. – Ну, хватит глазеть на дамочек. Пошли, посмотришь пейзажи.

Забывая обо всём на свете, он с головой ушёл в чудесные картины. Отчётливо, реально ему слышался шуршавень опавших листьев на тропинке, по которой он идёт сквозь золотую осень Левитана, осень, нежно пахнущую ароматом старых, на приворотном зелье разведённых красок. А через несколько шагов золотая осень погасла, улетучилась – и Подкидыш оказался на берегу полночного Днепра. Стоял, как зачарованный, смотрел на молочно-изумрудный лунный свет Куинджи. А вслед за этим, шагая по течению Днепра, он выходил на берег моря, над которым начиналось пиршество красок Айвазовского; свежий ветер с моря налетал, наду-

вал рубаху пузырём, шаловливо щекотал под рёбрами. И дальше, дальше двигался Ивашка. Торчал ротозеем. Дышать забывал, любуясь русскими пейзажами Поленова, Саврасова, Шишкина. Ему вдруг становилось то холодно, то жарко – пейзажи были зимними и летними. И только Старику-Черновику, шагающему рядом, было ни жарко, ни холодно: привык. Он спокойно, буднично повествовал о русских и зарубежных художниках 17, 18 и 19 веков, говорил, как им трудно и горько жилось, зачастую даже есть было нечего, а теперь истинный ценитель искусства за одну-единственную картину Рубенса, Боттичелли, Ван Гога или Клода Моне такие деньжищи даёт на торгах с молотка – на всю жизнь хватило бы и художнику, и деткам его, и внукам с правнуками. Вот этого Подкидыш не мог уразуметь. Да как же так? И почему? Старик вздохнул; бывает так, что мало быть талантливым, а надо ещё и помереть.

Подкидыш, подавленный величием того, что он увидел в Большой Художественной Галерее, глаз до утра не мог сомкнуть. Ему расхотелось бумагу марать и ходить по редакциям, по издательствам. Правильно дед говорит – баловство. Лучше на кузне работать, подковы на счастье ковать.

Утро было серенькое. Тихое. И даже Музарина, всегда румяная, была в это утро поблекшая, глаза погасли; она, видно, сердцем почуяла, что не скоро увидит Ивашку, который объявил, что уезжает.

Азбуковед Азбуковедыч попытался отговорить, но вскоре понял: бесполезно. И тогда пошёл он переодеваться, чтобы проводить в аэропорт.

– Надел бы шапку-невидимку, да и всё, – посоветовал парень.

– По Сеньке шапка, а по ядрёной матери колпак, – ответил Абра-Кадабрыч. – Шапку-невидимку можно износить по пустыкам, а когда приспичит, то шапка не сработает. Шапку, парень, надобно беречь. Так что я сегодня, в это серенькое утро, буду серый скромный житель Стольнограда. Ну, ладно, почапали. В третий раз, между прочим, уже собираемся. Бог любит троицу.

Музарина зарделась на пороге прощания, чмокнула парня в щёку и отпрянула.

4

И наконец-то шумный Стольноград – разноцветный и разноязыкий, суетливый, крикливый и шепотливый, прекрасный, но всё-таки гранитами угнетающий душу, – Стольноград остался за спиной. Небо за городом – словно с колен поднималось, в полный рост распрямлялось, зачёсывало набок русую чубину облаков, пронизанных солнцем. И дальше, дальше небо – сочно и просторно – открывало синие глаза. С перезвонами и перещёлками запели птицы, бойким бисером бросаясь там и тут... Ветер встрепенулся в кустах, в деревьях – на краю аэродрома. И слышался гигантский гул, легкой лихорадинкой наполняющий землю.

– А как же с билетом? – заволновался Подкидыш. – Кассирша говорит...

– Жди меня здесь! – приказал старик, облачённый в серую сермяжку старорежимного покроя с позолоченными пуговицами, на которых красовались то ли царские, то ли дворянские гербы и вензеля. Только это было не сукно, в котором спаришься по нынешней погоде – эта современная сермяжка походила на сюртук общеевропейского покроя из легких, «летних» тканей.

Подкидыш стал рассматривать репродукции, засиженные мухами: горы, водопады. Это были картины современных художников – от слова «худо». После вчерашних полотен Подкидыш на все эти мазюкалки даже вполглаза смотреть не хотел. Да и некогда было...

За спиной раздался бодрый голос:

– Корыто подано! – Абра-Кадабрыч потрясал билетом над головой. – А ты боялся!

– Достал? А кассирша говорила...

– Кассирша не пророк. – Старик с любопытством поглядывал по сторонам. – Ох, как тут всё расстроилось. Муму непостижимо. Кругом стекло и мрамор. Я не был тут, наверно, лет сто тридцать...

Простован недоверчиво покачал головой.

– Столько не живут!

– А я не живу – существую. Оруженосцу от литературы ни пенсии, ни выходного пособия. Нет, я не жалуюсь, ты не подумай. Это к слову пришлось.

Посмотрев на билет, Подкидыш увидел солидную сумму.

– А как же я деньги верну? Куда можно выслать?

– На деревню девушке. – Азбуковедыч улыбнулся. – Деньги – пыль на дорогах истории.

Услышав этот каламбур – «на деревню девушке» – Подкидыш вдруг ощутил какой-то удивительно знакомый аромат, облаком прокатившийся рядом. Он не сразу понял, что это, а вернее – кто это. Это была Музарина, влюблённая в него. Музарина, плутовка, взяла без спросу шапку-невидимку и до самого трапа проводила парня и поцеловала напоследок. И вот когда она поцеловала – тогда только дошло до парня, что это за облако ароматами дышит. Но это открытие он сделает немного позже, а пока он слушал тираду старика.

– Сынок! Поезжай до дому, пиши, как знаешь, дуй во все лопатки и никого не слушай. Знаешь, как сказал один французик, с которым я встречался в прошлом веке или позапрошлом, дай бог памяти. – Вспоминая, старик поцарапал загривок. – Французик этот, каналья, очень ловко тогда завернул. Дайте, говорит, мне две любые строчки любого поэта, и я приговорю его к гильотине. Ты понял?

– А что это такое? – рассеяно спросил Ивашка, вдыхая странный аромат незримого облака. – Гиль... тина... Или как её?

– Гильотина? Ну, это тот же топор, только с французским акцентом. Понятно? Так что пошли они, эти козлы... Алхимики, алфизики и всякие другие мудрецы. Вот уж кого надо под топор! – Абра-Кадабрыч ладонью рубанул по воздуху и неожиданно закричал: – Рубить надо! Рубить дурные головы! Рубить как острохамские арбузы!

– Тихо. – Подкидыш стал озираться. – Народу полно.

– А что народ? Народ у нас безмолвствует! – раздухарился побледневший старик, промокашкой вытирая потный лоб. – Как я давеча просил, как умолял Солнце русской поэзии. Будь другом, говорю, возьми да напиши: «Народ глаголет! Народ кипит!» Так разве он послушает. Повеса.

Поначалу Ивашка стеснялся; казалось, весь народ аэропорта только то и делает, что смотрит на них и даже пальцем показывает. Однако людям было не до того, они горели жаждой как можно больше чего-то увезти из богатого Стольного Града. Свертки, коробки, авоськи, упаковки и вязанки всевозможных товаров – всё это время от времени наплывало откуда-то из дверей, настырно и тупо толкало то справа, то слева, то спереди, то сзади. И никто из этих деловых и суетливых граждан не обращал внимания на болтавшего старика. Только однажды милиционер мимо прошёл, покосился.

И наконец-то объявили посадку. И в эту минуту Ивашка вдруг ощутил странно-щемящее, болезненно-сладкое чувство родства, чувство единой крови с этим чудаковатым и необыкновенным Стариком-Черновиком. И показалось, будто они уже давным-давно знакомы, и хорошо понимают друг друга.

– Спасибо, – смущённо сказал парень. – До свиданья, стало быть, и это... Привет и поклон Музарине...

– Да, да, конечно. Будьте здоровы быки и коровы. Пока, пока. Долгие проводы – лишняя проза. Иди на ковёр-самолёт. – Старик обнял его и не сдержался от каламбура: – Я иду по ковру, ты идёшь пока врёшь... Я правильно склоняю или нет? Ха-ха. Бороду даю на отсечение, что ты сейчас глядишь и думаешь, будто я из дурдома сбежал.

– Ну, вот ещё! – Парень вздёрнул подбородок.

– Сейчас твоё лицо, – сказал старик, – напоминает мне лицо надменного лорда Байрона. Это хорошо. Это обнадеживает. Ну, всё, ступай, ступай...

Старик что-то ещё хотел сказать, но вдруг заметил на полу капельку, упавшую откуда-то словно с потолка. (Это была слеза Музарины).

– Странно, – пробормотал он, поднимая голову. – Дождика нет, а крыша протекает.

«Что болтает, сам не знает!» – Принюхиваясь, Подкидыш поймал себя на странном ощущении: этот дивный аромат, который в последние минуты преследовал, – дух Музарины, Музы.

5

Автобус подвёз пассажиров к могучему лайнеру и, войдя в салон, Подкидыш опять увидел земляка – бодрого, подтянутого лётчика Маковей Литагина, жизнерадостного Звездолуба, которому был доверен огромный ковёр-самолёт Ту-134. И опять на сердце парня стало спокойно, светло, будто встретил старшего брата или друга по духу, по мечте и дерзновенности.

Приятный человек был Маковей Литагин; добравшись до высокого летчицкого кресла, он остался верен своему характеру – открытому, приветливому, не думал много о себе, не зазнавался.

Когда самолёт набрал необходимую высоту и занял привычный эшелон, командир передал управление своему помощнику и ненадолго покинул кабину.

Пройдя по ковровой дорожке – вот уж действительно ковёр-самолёт! – Звездолуб остановился около Ивашки. Присел на свободное место – напротив. Поправил свой двубортный тёмно-голубой костюм из чистошерстяной материи на шёлковой подкладке.

– Ну, как? – улыбчиво спросил. – Не зря смотался в Стольноград?

– Отлично! Где только я не побывал, что только не повидал...

– Молодец! Я рад за тебя!

– А я за тебя, – простодушно ответил Ивашка, рассматривая позолоту каких-то наплечных знаков различия Звездолуба. – Ты генерал? Или кто?

Засмеявшись, лётчик неожиданно склонился к нему.

– Земляк! – сказал заговорщицки. – Пошли ко мне в кабину. Хочешь? Ну, пошли. Но только уговор: ты ничего не трогаешь руками.

– Ясное дело! – Парень развеселился. – А ногами можно? Солнце горело где-то сбоку и сзади – лайнер летел на северо-восток на высоте нескольких тысяч метров. А на таких высотах краски изменяются до неузнаваемости. На обочинах небесного пути – то справа, то слева – лениво разрастались зеленовато-золотые облака, похожие на кроны райского сада, уже немного тронутого предосенним дыханием. А там, вдали, в преддверии Господнего предела, верхний край небосвода был червонно-синий с переходом-переливом в голубизну океанской безбрежности, расплескавшейся так широко, что глазам становилось больновато – от перенапряжения, от жадного желания заглянуть куда-то за пазуху горизонта. А тут, вблизи – вдоль крепких многослойных стёкол, которые и пуля не прокусит, – время от времени пробегала рваная дымка, стремительно скрывавшаяся под крылом или серебристой паутинкой мелькающая вдоль фюзеляжа.

– А у него какая скорость? – поинтересовался Ивашка.

– Летит быстрее молнии! – пошутил Звездолуб и скороговоркой добавил: – Крейсерская скорость – восемьсот пятьдесят. Потолок – двенадцать тысяч сто.

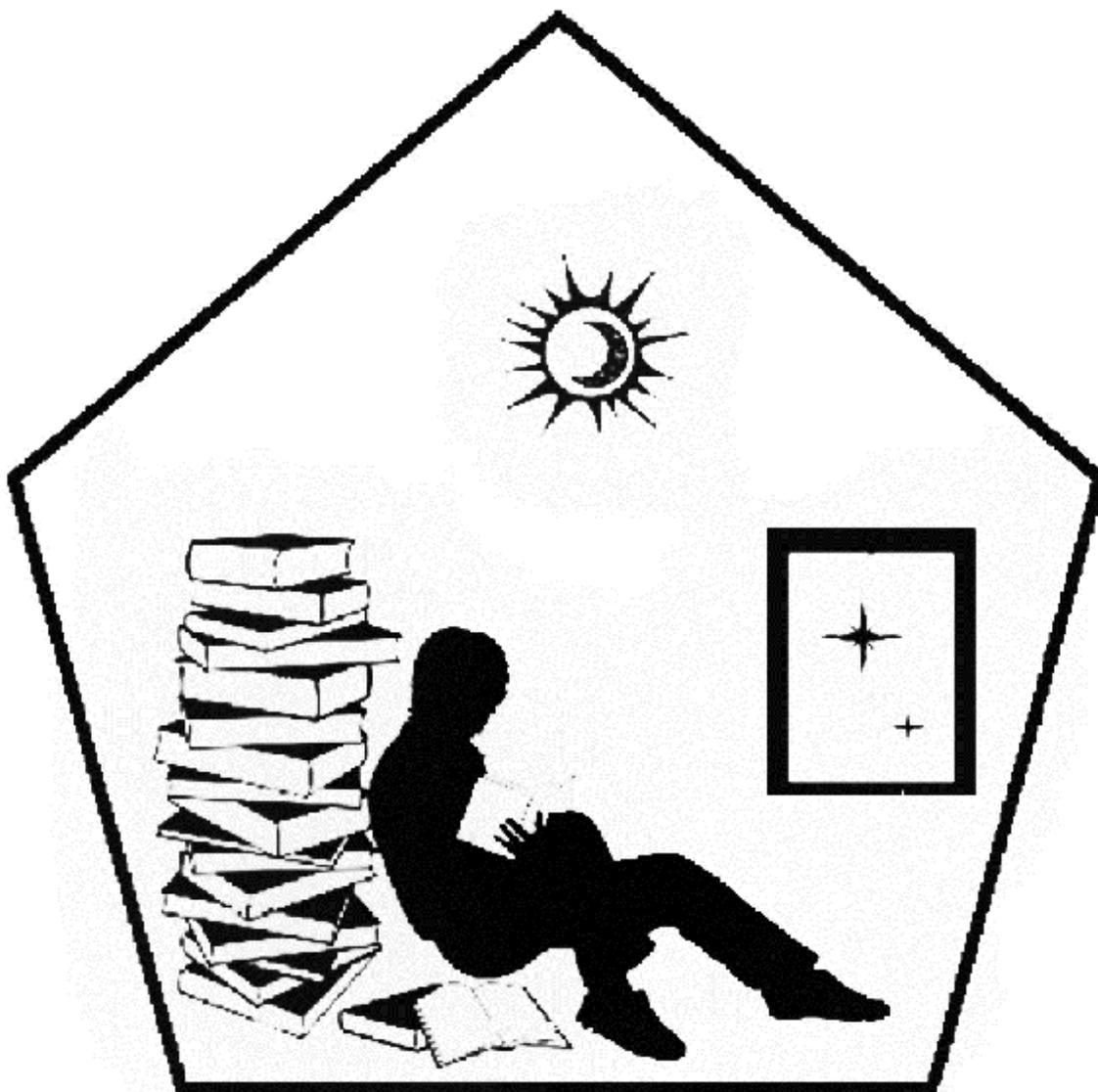
– Ого! – Подкидыш посмотрел на потолок кабины. – А что это за лампочка мигает?

– Вот эта? – Литагин улыбнулся. – Эта сигнальная лампочка. Она говорит, что, мол, хватит постороннему в кабине находиться. Хорошего, мол, понемногу.

Парень засмеялся и ушёл на своё место. Долго смотрел в иллюминатор, будто заснул с открытыми глазами.

Величаво, неспешно ковёр-самолёт всё летел и летел над землею. Летел, сверкая серебром и золотом узоров на крыльях, на фюзеляже, плавно покачивался на воздушных лазоревых волнах, с облако на облако соскальзывал, будто с одной белоснежной горы на другую. Улыбаясь, Ивашка отрешённо думал, что примерно такие же горы были в детстве у него. Чистые-пречистые снега запомнились – облакообразно громоздились под окнами, вспухали во дворе, на огородах. А снегири залётные – весёлые да искромётные – как проблески зари полыхали среди белоснежных, не примятых никем облаков.

Летел Ивашка – и в ус не дул. Спокойненько парил, вольготно лёжа на боку и подперев одной рукою щеку, за которой медленно истаивала «взлётная» карамелька, не схрумканная сразу, а припасённая для сладкого мечтания. Он отдыхал и телом и душой. Не думал ни о чём и не загадывал – что там, как там будет впереди? На часах истории русского Ивана была такая редкая, прекрасная минута, когда можно просто так любоваться милою землёй – от края и до края горизонта. Смотри, любуйся, впитывай в себя волшебные картины Родины твоей. Смотри и удивляйся – как много тут лесов и гор, как много рек, озёр, полей. А сколько сёл и деревень, и городов промелькнуло уже под ковром-самолётом! А сколько ещё промелькнёт! Какая огромная это земля – Россия-матушка, Святая наша Русь! Какую упрямую, гордую силу даёт она русскому сердцу, русскому духу!



Глава шестая. Великогроз

1

Несколько веков тому назад Житейское море было необитым, но всё-таки в бухте Святого Луки встречались корабли древних греков – триеры, биремы с боевыми башнями; древнерусская ладья на волнах баюкалась; лёгкие стремительные струги. Загружая трюмы необходимой провизией и порохом, корабли разбегались – по всем направлениям Розы Ветров. И никто теперь уже ни в каких папирусах не найдёт названия того корабля, который однажды взял на борт отчаянно-весёлого матроса, рискнувшего пуститься на открытие новых земель. И никто не скажет, после какого шторма или урагана от корабля остались одни щепки, а от команды остался один матрос. Оказавшись на пустынном берегу, он уходил всё дальше и дальше от моря – ураганный ветер гнал по свету. И забрался он в тайгу, в такое заветерье, в такую глухомань, где проживают русалки да лешие, где паутинка в тишине дрожит-звенит как струночка на гусях.

Легенду эту рассказывали прадеды, легенду о том, как появилась деревня Изумрудка – скромная, старинная, десятка три-четыре тёмных от времени кондовых изб, вольготно стоящих на берегу светлоструйной реки Изумрудки, шумной и шустрой в верховьях, а возле деревни спокойной, протекающей между громадными белыми валунами, похожими на черепа доисторических чудовищ.

По поводу названия реки и деревни ходило много рассказней. Кто-то говорил, в здешних заводях в старину водилась утка-изумрудка, такое изумрудное имела оперение, какого не встретишь у павлина. А ещё рассказывали, будто охотник утку подстрелил, а у неё полный зоб изумрудных камешков. И такую же побаску рыбаки рассказывали: один поймал стерлядку – полное пузо изумрудного груза, а другому попался таймень, набитый самоцветами.

Люди в Изумрудке из века в век жили тихо, мирно: в тайге промышляли, землю пахали. Была в деревне кузница – дело привычное, ремесло прозаичное. Только однажды, говорят, пришёл откуда-то кузнец-волшебник, глухонемой Данила Простован, которого прозвали Кузнецарь. Кроме прозаической работы, которой всегда невпроворот, глухонемой Данила занимался «лирической» ковкой, применял какую-то чёрную магию, известную лишь кузнецам.

Говорят, он сказки сочинял на своей весёлой наковальне. Зимой, например, используя «металл-чародей», он мастерил горячие красные розы, приносил в подарок своей милашке. И эти волшебные розы – несмотря на морозы – до утра горели под окном, расплавляя сугробы и согревая девичье сердце. А иногда Кузнецарь мог на плече притащить наковальню, поставить в зимнем саду возле дома зазнобы – и до утра в саду звенели соловьи-разбойники, серебрянозвонили, выбрасывая дивные коленца. (Он был глухой, но не совсем; мало-мало слышал перезвоны). Вот таким манером этот Кузнецарь крепко-накрепко приковал к себе жену-красавицу. И родились у них сыновья; кто в пахари пошёл, кто стал охотой да рыбалкой промышлять. И только старший сын – Великогроз – прикипел к отцовскому ремеслу. Спервоначала был подмастерьем, на подхвате, на подстуке, а в дальнейшем дорос до кузнеца, потомственного мастера, который каштаны таскал из огня и людям раздаривал – три-четыре окрестных деревни обслуживал.

Глухонемой отец-кузнец передал Великогрозу тайны своего ремесла, а перед смертью показал какую-то железную загогулину. Это была огромная куриная лапа, уже почти откопанная, – обновка для избушки на курьих ножках. Только нужно было коготь сделать. Оглушённый смертью отца, Великогроз напрочь позабыл про эту лапу – не до того. А когда уже

отпоминовали, Великогроз на кузницу пришёл, горнило взялся распалить. И тут появляется какой-то молодчик, похожий на чёрного ворона в человеческий рост; на одной руке три пальца, как три птичьих когтя.

– Отковал? – спросил-прокаркал варначина.

– Чего? Кого? – не понял Великогроз.

– Корову! Тебе разве отец не говорил? Кузнецу не понравилось такое обхождение.

– А как он скажет? Глухонемой.

– Ты шутки свои в другом месте шути! – одёрнул непрошенный гость. – Давай, работай, дядя! Не рассусоливай! А то мы без дела стоим которые сутки...

– Кто это «мы», интересно?

– Значит, папка не сказал? И мамка не поведала? – снова прокаркал нагловатый гость. – А у самого умишка не хватает – догадаться? Нет?

– Ты мне загадки тут не загадывай. – Кузнец играючи поднял пудовый молот. – А то, знаешь, некогда.

Двуногий варначина расхохотался-раскаркался.

– Гроза! Да ты никак грозишь? Успокойся, дядя, нам не надо собачиться. Мы делаем общее дело. Ты бороны куёшь, плуги, а мы ходим-бродим по земле, семена просвещения сеем...

Странный хлопчик популярно рассказал, что вот эта здоровенная куриная лапа, – от избушки на курьих ножках, которая давненько простаивает.

Великогроз набычился.

– Не буду я вам, нечистям, ничего ковать.

Усмехаясь, варначина трёхпалою рукою вынул уголёк из горна – прикурил.

– Тятенька твой был сговорчивей.

– Верни на место уголёк... – Великогроз отбросил пудовый молот. – И ступай отсюда с богом!

– А вот это шиш тебе, – сказал молодчик и трёхпалою рукою фигу скрутил. – Я только с чёртом. Ну, пока. Мы ещё встретимся.

Ворон-человек с необычайной легкостью взял на плечо железное бревно – куриную ногу – и растворился в раномутреннем тумане. А под вечер кузница сгорела. Причём сгорела во время ливня. В небесах грохотал грозобой, сотрясая округу, вода кругом шкворчала как яичница на сковородке. Ливень был такой – сухой иголки не осталось даже под столетней могучей елью, шатром стоящей неподалёку; всё насквозь промокло. И, тем не менее, – сгорела кузня. Одни головёшки остались.

Великогроз, конечно, заново отстроился, для мастерового человека не проблема. Только гордости в нём поубавилось. Кузнец к той поре оженился, пригожую дивчину в дом привёл, и нечистая сила застрашала его: дом обещали спалить, с молодой жёнущкой потешиться, и детишек взять на воспитание в избушку на курьих ножках. Делать нечего – пришлось ломать характер. И стал наш кузнец потихохоньку работать на чертей. Иногда коготок откуёт для куриной ноги, задвижку для дверей, топор для палача, ну и так ещё по мелочам. А куда тут денешься? Был бы один, сам себе господин, тогда другое дело, а так получается, как в той поговорке – не привязанный, а визжишь.

Годы шли, ковач крепкую семью себе сковал – два сына, дочка. (Родной-то сын один, а второй Подкидыш). Старшего сына звали – Апора. Парнишка с малолетства землю полюбил; за плугом, как за другом, пошёл по огородам, по родным полям. Дочка – Надёжа, была рукодельница, ковры, полотенца ткала. А третий – Подкидыш, в грозовую ночь нашли на покосе под кустиком, пожалели. Странный был дитёнок. Необыкновенный. Хрусталина, жена, ставшая мамкой для Подкидыша, заметила такую штуку: когда брала ребёнка на руки – вдруг переставала землю под собою ощущать. Ребёнок рос, ребёнок тяжелел, казалось бы, а на самом-то

деле – становился будто всё легче и легче. Хрусталина всё реже и реже касалась пола, а потом вообще караул – приподнималась над полом, над землёй. Голова её порой касалась потолка, а если женщина была на улице – могла на несколько минут зарыться в облака, улететь под радуго-дугу после дождя, прикоснуться к звезде или месяцу. Перепуганному кузнецу пришлось к ногам жены привязывать железо, чтоб не улетела. Но всё это было ещё – безобидная присказка. А сказочка такая началась – мороз по коже.

У Подкидыша оказались удивительно устроенные глаза. Он видел то, что другие не видели. Впервые это стало понятно, когда от него прятали соску: мальчик безошибочно смотрел туда, где соска – на правую руку или на левую. А позднее, когда мальчуган повзрослел и старшие дети затевали игры в прятки, он безошибочно находил схоронившихся в тёмном углу или в дальнем чулане. Мальчик видел куриные яйца, когда они в сарайке на гнёздах появлялись под несучками. Видел, как волки однажды зимой в полнолуние прибежали из леса и хотели зарезать корову. Подкидыш, внезапно проснувшийся, переполошил родителей. Кузнец тогда вышел с ружьём, отпугнул. Мальчик видел мать-и-мачеху под сугробами, синие и жёлтые подснежники, кусты и зелёные травы, заваленные снеговищем.

Приёмные родители с потаённой опаской наблюдали, как мальчик растёт, и всё больше и больше тревожились, втайне уже иногда сожалея о том, что усыновили такое чадо. Что из него получится? Кто?

Крёстный у парнишки был – Литагин Серафим Атаманыч. Башковитый мужик. Крёстный однажды присоветовал кузнецу: если, мол, хочешь узнать, кто он будет по жизни – дай мальчишке золотое кольцо. Если ребёнок в рот кольцо потянет – будет красноречивым. Если зажмёт в кулачке – будет богатым. А если выбросит кольцо – быть ему философом.

Кузнец махнул рукой – ерунда, мол, все эти приметы. Но из любопытства решил попробовать. И что бы вы думали? Мальчишка в рот кольцо потянул.

– Златоустом будет! – воскликнул крёстный.

Однако в следующий миг малец колечко выбросил, да так далеко – насилиу нашили. Крёстный озадачился.

– Нет, – сказал, скобля загривок. – Быть ему философом.

– Дармоеда в этом доме я не потерплю, – заявил кузнец. – Будет пахать, как миленький.

И Подкидыш пахал, скирдовал – помогал приёмным родителям. Он легко и азартно впрягался в любую работу – глаза горели, но через какое-то короткое время он остывал. Неинтересно было заниматься нехитрыми житейскими делами. Через день да каждый день Подкидыш уходил в тайгу, бродил в полях, всё искал свой философский камень, только не тот, который алхимикам известен как волшебный эликсир, при помощи которого можно металлы превращать в золотишко. Нет. В ту далёкую пору Подкидыш был настолько наивен, что философским камнем называл всякий камень, на котором человек сидит и размышляет – философствует. И таких «философских» камней у него было много – в тайге, в полях, где он подолгу просиживал, думая о чём-то или просто глядя на небеса, на землю. Этот странный отрок всё никак не мог определиться, куда идти, к чему приткнуться. Поначалу за братаном тянулся, пробовал землю пахать, но бросил. Попробовал сестрице помогать – нравилось узоры сочинять на полотенцах, на коврах; когда-то ведь это была великая премудрая наука – письмена, так роскошно исполненные руками потомков. Но скоро он и это бросил – бабье дело, что ни говори, с тряпками возиться.

И тогда Подкидыш отправился на кузницу, издалека похожую на звонкую шкатулку, в которой злато-серебро пересыпается.

Приземистая кузница находилась на краю деревни. Звонкая эта шкатулка, издалека волшебная, вблизи смотрелась прозаично и даже убого; угловатые потемневшие брёвна казались коваными – гвоздя не вобьёшь. Подкидыш был от природы крепким, дюжим, сызмальства охотно стал помахивать игрушечным молотом – тятенька смастерил. А попозже, лет, наверно,

с двенадцати одарённый отрок уже вполне по-взрослому помогал отцу – железо мог месить с утра до вечера, не зная устали. Однако и это занятие – по глазам было видно – мало душу грело. Но никакого другого дела под руками не было пока, и потому парнишка продолжал ходить на кузню, помогать отцу.

Помощничка этого Великогроз Горнилыч самолично вытурил и в сердцах наказал: чтобы ноги тут не было. Такой неожиданный гнев приключился оттого, что паренёк тайком на кузнице умудрился выковать старославянский золотой алфавит, каждая буква которого мельче просяного зёрнышка. Два мешка такого проса наковал, стервец, да ещё один мешок пыли золотой – это были точки с запятыми, вопросительные знаки да восклицательные. Великогроз ему тогда врезал сгоряча. Да и как не врезать? Золотой расплав был приготовлен для работы златокузнецов, которые жили в городе – Великогроз иногда золотишко да серебришко выплавлял из каких-нибудь старинных штук, возил на продажу. А Подкидыш этот что наделал? Оставил семью без прокорма. Правда, позднее городской гражданин приезжал, охал и ахал, разглядывая золотой алфавит. И разглядел-то не просто – сквозь лупоглазую лупу.

– Левша отдыхает! – сказал городской. – А кто это сделал?

– Ванька, чтоб ему...

– Твой сынок? А где он?

– Да где-то в тайге околачивается.

После разговора с горожанином Великогроз Горнилыч душою смягчился, хотел опять Подкидыша зазвать на кузницу, но было поздно. С парнем беда приключилась, да не простая беда – золотая. Влюбился парень. Да так влюбился, хоть репку пой...

– Совсем голова у него открутилась, – горевал кузнец. – Плюнул на работу и пошёл, хрен его знает, куда. Царевну какую-то ищет.

Жена улыбнулась.

– Ну, так он же сам Иван-царевич. Пару себе думает сыскать.

– Иван-дурак он, а не царевич! – осерчал кузнец. – Из дому вышибу, так будет знать!

– Утомонись, Вулкан, – с улыбкой говорила жена. – Разбушевался.

В деревне, да и в семье мало кто знал, откуда у него это прозвище – Вулкан. Ну, то, что характер горячий – это понятно, но дело не только в характере, надо ещё знать историю.

2

Вулкан Великогроз когда-то находился в Житейском море – неподалёку от города Святого Луки. И где-то там, на острове, у подножья вулкана, как гласит семейное предание, в 17 веке родился богатырь. И нарекли того богатыря – Великогроз. И это было не в бровь, а в глаз. Характер оказался кипящий, вулканический. Человек тот, дерзкий и отчаянный, был капитаном, ходил под чёрным флагом, украшенным Адамовой головой, – старинный символ смерти и бесстрашия. Стремительный корабль Великогроза по морям-океанам летал быстрее молнии, настигая добычу в самых неожиданных местах. И тогда лазурная вода становилась червонно-багровой, и на запах крови к месту побоища торопились акулы – жадно рвали тела убиенных заморских купцов, моряков. А капитан Великогроз приказывал причалить к дикому какому-нибудь острову. Поднимали костры до небес, открывали бочки с вином и ромом, и начинали многодневный пир. А всякий пир, известно, кончается похмельем, от которого башка трещит.

Горькое похмелье изведаль капитан Великогроз, когда однажды поутру прочухался и увидел себя крепко связанным. Страшно сказать, что случилось на острове, где проживало племя каннибалов. Аборигены, никогда ещё не пившие такого крепкого хмельного, до того развеселились – всю команду сожрали за ночь. А капитана – как породистого самца – оставили для улучшения своего людоедского племени. Капитану построили отдельный шалаш, в котором посе-

лился целый гарем – штук двенадцать папуасок. Три с половиной месяца капитан Великогроз прожил на том острове, с ужасом глядя на головы своих верных товарищей – отрезанные головы на копьях были воздеты к небу и день за днём какие-то неведомые птицы, похожие на грифонов, терзали черепа, оголяя до белой кости, ослепительно сверкающей на тропическом солнце. Капитан Великогроз плохо понимал тарабарскую речь людоедов, но красноречивый нож в руке вождя – нож, испачканный кровью – хорошо объяснил, что может быть с невольником, если он не станет слушаться вождя. И невольник покорился. Сто дней и ночей капитан улучшал породу людоедов, сотрясая шалаш и окрестные пальмы так, что бананы падали на крышу, а красотки в гареме по ночам и среди белого дня так визжали, так зывали о помощи – людоедов охватывал ужас. Людоеды приходили посмотреть, что вытворяет белокожий зверь – может быть, он живьём пожирает бедных папуасок. Успокоившись, аборигены даже полюбили капитана. Наивные как дети, они подходили к Великогрозу, бесцеремонно приподнимали набедренную повязку и восхищённо трогали священное сокровище.

– Какой банан! Какие апельсины! – лопотали они, изумлённо переглядываясь и цокая языками.

От гостеприимных людоедов Великогрозу удалось убежать во время шторма. Ураганный ветер ночью валил деревья – стотридцатилетняя секвойя упала на шалаш Великогроза и раздавила половину гарема, а сам этот несчастный падишах, чудом уцелевший, бросился в море и двое суток болтался там, обнимая обломок какого-то дерева, с корнями вырванного бурей. На третьи сутки Великогроза подобрало торговое судно, одно из тех, какое он когда-то грабил – на бортах были знакомые зарубки «на память», зарубки от сабель, царапины от страшных абордажных крючьев. Но капитана пиратов никто не узнал, до того изменился, изгваздался, длинными волосьями оброс и одичал. Команда торгового судна напоила его, накормила и спать уложила. И Великогроз заплакал от такого гостеприимства. И что-то внутри у него перевернулось. Вся душа как будто встала и пошла – навстречу Богу, навстречу Солнцу.

Несколько лет он бродяжил по морям, по чужестранным землям, изучая нравы, языки, обычаи людей. За это время страннику Великогрозу посчастливилось воочию увидеть Семь чудес света Древнего Мира. Он побывал у подножья Пирамиды Хеопса. Висячие сады Семирамиды принимали странника в свои объятия. Храм Артемиды в Эфесе во всей красе ему открылся. Статуя Зевса в Олимпии заставляла его сердце обжигаться чувством изумления. Он преклонял колени у Мавзолея в Галикарнасе. Перед ним стоял Колосс Родосский, головой доставая до неба. Александрийский маяк подмигивал ему волшебным оком...

И не важно было, что из этих Семи чудес Света только одно-единственное чудо уцелело – Пирамиды. Всё остальное, увы, разрушило время и разгулы стихий. Висячие сады Семирамиды, созданные вавилонцами для жены царя Навуходоносора, были уничтожены бурным наводнением. Статуя Зевса в Олимпии, созданная греками, сгорела в Константинополе во время пожара. Храм Артемиды в Эфесе тоже в своё время сожрал огонь. Мавзолей в Геликарнасе, возведённый в качестве надгробного памятника карийскому правителю Мавсолу и его жене, развалился от землетрясения – в живых остался только фундамент и архитектурные фрагменты. Колос Родосский тоже пострадал от землетрясения – бронзовый корпус был демонтирован, бог знает, когда. Александрийский маяк так же был разрушен землетрясением...

Для странника Великогроза это было не важно.

В нём открылось внутреннее зрение, позволявшее видеть как прошлое, так и будущее Земли.

Вот такое было семейное предание насчёт Великогроза.

3

Века прошли с тех пор, семейное предание забылось, и потому на новом месте – на таёжных просторах – зашумела новая легенда. Говорят, что редкая, великая гроза была в горах, когда родился этот Великогроз, сын кузнеца. Думали, двойня родится – так разбарабанило мамочкин живот. А он один родился – за двоих, как потом подшучивал глухонемой отец-кузнец, руками изображая то, что хотел сказать.

Родившись «за двоих», Великогроз обладал не только удвоенным весом. Луженая глотка мальчика пугала удвоенным рёвом – стёкла звенели в избе, кошка из дому сбежала. Глухонемой отец и тот слышал крику. А у матери уши распухали оладьями, когда этот милый стервец принимался выводить свои рулады. Керосиновая лампа испуганно моргала и гасла на столе, и огонёк лампадки потухал возле иконы в красном углу, когда малый чихнёт. Вот какой могучий дух в нём колобродил. И аппетит у него был отменный – все груди у мамки изжамкал, до доньшка высосал. Няньку-молочницу пришлось приглашать, так он эту няньку едва не загрыз, такая вкусная. Как схватится ручонками за грудь, как вцепится, волчонок, беззубыми дёснами, хоть «караул» кричи. И с таким же удвоенным усердием, с невероятной скоростью продвигалось его развитие и ввысь и вширь – не успевали рубашонки перекраивать, так он быстро из них выскакивал. И так же удвоенно – если не утроенно – копилась в нём, томилась, брагой бродила богатырская силушка, заставляла выкидывать невиданные фокусы.

Вершина головы Великогроза была совершенно плоская, и родничка там почему-то не было – костная какая-то мозоль. И вот на этой плоскости Великогроз – лет с пяти, шести – на потеху себе и товарищам таскал ведро с водой или другие тяжести. А когда подрос – на плоской голове, как на чугунной наковальне, мужики и парни на спор гвозди выпрямляли, а заодно спрямляли извилины в башке Великогроза, такая молва по округе ходила. Богатырская силушка рано подтолкнула парня на тропу, ведущую в кузню, где над жарким золотом искрящегося горна всю свою жизнь горбатился кузнец Данила, которого прозвали Горнила.

Вот почему он, потомственный кузнец, именовался так оригинально – Великогроз Горнилыч. Пропуская многие страницы из его великогрозной жизни, нужно сказать о том, что он – как большинство неумных, великой, грозной силой пышущих людей – по молодости был мужиком разгульным, любившим вороных своих коней и в хвост и в гриву гнать по горам и долам. Великогрозная душа его рвалась наружу так, что все рубахи трещали, все косоворотки разлетались клочьями – в основном по праздникам, но случалось и в будни. Любил он, грешным делом, самогонкой душу сполоснуть, потом гармошку рвал напополам – не мог дурную силу рассчитать, портил инструменты, сам того не желая. Балалайку так отчаянно терзал на гутьбищах – она сначала пела залётным соловьем, затем бедняжка лаяла, до хрипа балалаяла, а в самый разгар вдохновения инструмент ломался в лапах кузнеца – тонкий гриф не выдерживал натиска. И ещё была забава у него – устраивал кошмарные кулачные бои; один против десятка дюжих мужиков. На масленицу, бывало, как соберутся на берегу – весь мартовский снег петухами горит под ногами, а среди снежной крупы там и тут горохом рассыпаны зубы. Но в этих кулачных боях Великогроз, по его же собственному признанию, бил не сильно, любя, можно сказать. А вот если он бил от души, с лютой ненавистью, что случалось редко, тогда уже гиблое дело. Так, например, он однажды коня покалечил. Какой-то вор из-за реки приехал на покос, где Великогроз уже поставил свежие копны – вор не знал, что это его покосы, а иначе не сунулся бы. Самого-то пакостника кузнец не смог поймать, и слава богу, а то убил бы, а вот коня поймал и покалечил, издох жеребец, кровью харкая.

А вообще-то Великогроз отличался незлобивым характером, как большинство людей, наделённых недюжинной силой. Весь огонь, вся вулканическая лава, кипящая в нём, находили отдушину в бабьем паху на меху. Любил он взять бабёнку за грудные жабры, как сам он выра-

жался. Любил эту рыбу зажарить на железной двуспальной сковородке. И тут уже он – извините! – ни дров, ни огня не жалел. Страшное дело, что там творилось, во время этой жарки, сколько там подсолнечного масла выливалось...

Эту огнедышащую страсть Великогроз почувствовал в себе довольно рано – лет, наверно, в тринадцать, если не раньше. Тогда с ним по соседству жила одна Цыпонька – личиком красивая, а нравом очень кроткая. Вот её-то первую он и присмотрел, всё равно что приговорил. Поначалу весь вечер сидел за огородами – в пыльных полынях, в крапиве, которая, кстати сказать, никогда не кусала его, а точнее, не прокусывала кожу. Сидел он, терпеливо ждал, когда окошко банное зажётся, как жёлтый, мёдом намазанный блин. Потом по огороду прополз на четвереньках и несколько мгновений – как в полуобмороке или столбняке – паялился. Не моргал, не дышал. Цыпонька – белотелая, сдобная девочка, похожая на куклу – была видна урывками. Загорелая мясистая тётка или мамка, чёрт бы её побрал, то и дело закрывала обзор своим широким, отвисшим задом или волосатым передом. Великогроз – глядя то на тётку, то на цыпу – стал набухать какой-то тёмной кровью, приливами шумящей в голове, штормящей как море, выходящее из берегов. Из-за этих приливов он даже плохо стал соображать и плохо слышать. За бревенчатой стенкой глухо гремели тазы, ковши стучали конскими копытами; плескалась вода, длинными верёвками-жгутами стекающая в яму, вырытую под баней. Время от времени из чёрной, разъявленной пасти дракона – из каменки, набитой речными валунами, – со сдавленным рычанием вырывались облака раскалённого пара. Банное окошко, едва заметно вздрагивая от тугого напора, туманилось, точно в бреду, и начинало слезиться – капля за каплей бежали витиеватыми строчками, за которыми смутно читались обнажённые тела. Взволнованно кусая и облизывая губы, Великогроз вожделенно глазел на мокрые горы грудей, на перевалы крутых задов, на тёмные ложбины передов, поросшие таинственным лесом. Всё это двигалось, плескалось, шабуршало, и этого добра уже казалось настолько много, сколько даже в баню эту не поместится. И в голове у него это всё уже не помещалось. Он смотрел шальными, пьяными глазами и не мог сообразить, что происходит – ум за разум заходил. В тепле тёмно-синего июльского вечера – в духоте, похожей на предбанник – ему вдруг становилось зябко так, что кожа под рубахой покрывалась «просом» и зубы начинали дробить дроботить... В эти мгновения он чувствовал себя примерно так же, как в чужом саду, где он с парнишками, бывало, воровал – толкал за пазуху – ещё зеленоватые, но всё равно уже вкусные, сладким соком наливавшиеся яблоки. Там, в чужом саду, можно было запросто налететь на выстрел злого сторожа, и это, как ни странно, придавало яблокам какую-то жутковатую сладость. И точно так же тут – около запретного банного окна. И тут были яблоки – белые, ещё недоспелые – колыхались так близко, как близко бывает тот локоть, что не укусишь. И тут можно было нарваться на сторожа – в любую минуту хозяин мог выйти на крылечко, покурить или коня в загоне посмотреть. Или мясистая тётка – или мамка, или кто там был? – могли из бани выйти по нужде. И поэтому Великогроз, жадно глядя в потное оконце, ушки держал на макушке. И если только вдруг он чуял что-то подозрительное – отползал от бани, колючую крапиву мял руками, раздвигал ушами, не ощущая колкости. Да что там крапива! Случись на пути у него колючая проволока, он бы ничуть не почувствовал её раскалённые зубы; сердце у него разбухло от волнения; кровь кипела от буйного дикого чувства и обжигала куда сильнее. В эти минуты у него действительно ум за разум зашёл, потому что он всё перепутал.

Желанная дивчина ушла из бани, а мясистая тётка осталась домывать свои горы грудей и прочее. Великогроз постоял, пошатываясь, – как бык на бойне, которому уже кувалдой припечатали по лбу, но ещё не забили до смерти. Постоял, посопел, набычившись на пороге в предбанник. Кровью наливающимися глазищами покосился на серебряный рог полумесяца – вставал за рекой. Потом – уже почти в угаре, почти в беспамятстве – переступил через порог и начал так остервенело раздеваться – пуговки брызнули и побежали, как тараканы, по щелям, по углам...

Многопудовая мясистая баба – кобыла с мокрой чёрной гривой, разметавшейся по хребту – в сырой полумгле ничуть не смутилась, когда он вошёл; баба ждала своего муженька, хилого, страдающего грудною жабой.

– А ну-ка... – Баба, не оглядываясь, мочалку подала. – Потри, милоч, мне спину.

И милоч потёр, да так усердно, так отчаянно потёр – бедная баба на стенку полезла от ужаса, зубами и ногтями сучки скоблила, просила её пощадить и одновременно умоляла удальца бить-колотить до конца, а если можно, так до бесконечности.

4

Так он совершил свой первый грех, ну а дальше-то уже пошло-поехало как по накатанной лихой дорожке. Дальше было легче, проще добиваться своего, потому что не зря говорится: добрая слава на месте лежит, а худая впереди тебя бежит. Вот и побежала впереди Великогроза такая слава, что на него – на голого кузнеца – страшно даже смотреть. Он был с таким могучим мужицким молотом, что не дай-то бог попасть на наковальню. Но вот что было странно. Худая эта слава день за днём, а точнее, ночь за ночью, стала привлекать к нему всё больше разбитных, отчаянных бабёнок – овдовевших, разведённых или просто имевших слаbinу в паху. И однажды, рассказывают, в объятьях у него оказалась какая-то царь-баба, которая специально прилетела из-за моря-океана, из-за острова Бурьяна. И прилетела не на самолёте – на метле. Вот таким-то образом, рассказывают, кузнец породнился с нечистой силой. Только это уже рассказы такие, которым не сильно поверишь – люди много могут наболтать, сидя на завалинке, лузгая семечки в хороший урожайный год, когда кругом полно солнцеворотов, ну, то бишь подсолнухов, величиной с тележные колёса.

Доподлинно вот что можно сказать. Мужицкая сила его – гигантское горнило кузнеца – было таким неумным, что никогда он сам не остановился бы, не остепенился; либо кто-то из мужей в порыве ревности пристрелил бы ухаля, либо кто-нибудь из женихов, у которых он «случайно» отбил невесту, чтобы вскорости вернуть, как возвращают яблоко, уже надкушенное. Печальная развязка была не за горами – за кузнецом охотились, подстерегали на узкой дорожке, следили глазами, ледяными от ненависти. Но победила всё-таки любовь, та самая любовь, которая иногда творит такие чудеса, о которых только в сказках пишут. А тут – настоящая была.

Однажды Великогроз Горнилыч повстречал такую раскрасавицу, рядом с которой не только что золотое пламя горна – даже солнце померкло. Редко так бывает, но всё-таки бывает, слава богу. Женился кузнец. Остепенился, точно сам себя перековал. Обрастая ребягнёю и домашним хозяйством, как большой корабль обрастает ракушками, Великогроз Горнилыч – неожиданно для многих – с удовольствием завернул в семейную тихую заводь. День за днём и год за годом теперь он себя тратил только на дела семейные, благие. И доброта в нём появилась необыкновенная. Взял чужое дитя – усыновил, не раздумывая. (Что-то странное было в истории с этим Подкидышем, по деревне ходили слухи, будто парнишка был родной Великогрозу, а вот кто мамка у него, неизвестно).

Сделавшись примерным семьянином, не умеющим ни минуты усидеть без дела, он в таком же духе и детей воспитывал. Но семья не без уroda. Ивашка, петухом расшитая рубашка, не слушал отцовских наставлений жить своим трудом, не лоботрясничать, в поте лица добывать хлеб насущный.

Великогроз Горнилыч какое-то время терпел, понимая, что скоро терпение лопнет. Двужильный трудолюбец, он не сможет смириться с тем, что рядом растёт дармоед. «Я мозги-то ему подкручу!» – думал кузнец и при этом по своей многолетней привычке царапал «отвёрткой» по железу или по дереву. Указательный палец на левой руке напоминал отвёртку или

стамеску, сверкающую ногтем, точно лезвием – это кузнец по юности, по глупости молотом по пальцу долбанул; косточка расплющилась. Была опаска, что совсем отсохнет палец, но ничего, Бог миловал – получился такой инструмент, который постоянно под Рукой. Этим плоским пальцем, железным ногтем Великогроз мог теперь завинчивать или отвинчивать шурупы, а иногда так даже дерево скоблил не хуже, чем стамеской.

Узнав о том, что Ванька улетел аж чёрте куда – в Стольноград! – кузнец поначалу языка лишился, только глазами хлопал, как здоровенный сом, неожиданно вынутый из-под коряги на сушу. «Пускай только вернётся! Я закручу ему шурупы! Если у него там не хватает, так я добавлю! Так добавлю, мало не покажется!»

Возмущаться-то он возмущался, но в глубине души испытывал некое смущение и даже робость. А причина была такая: Подкидыш недавно разоблачил кузнеца – случайно узнал, что отец тишком-тайком «работает на сатану».

5

Произошло это в прошлом году, когда парень ещё не занимался дурацкими писульками на бересте. Он целыми днями бродил по тайге, собирал грибы да ягоды, копал коренья. Шишковал по осени – кедровые шишки деревянным колотом, как пудовым молотом, околачивал, по-детски удивляясь, какие могучие кедры вырастают в родной тайге – метров пятьдесят и даже больше. А какие древние деревья – лет, наверно, по двести растут, в облаках купаются. Подкидыш любил это «хлебное» дерево – рядом с ним не пропадёшь, прокормишься. И жалко было – даже зло брало! – когда он видел кем-то заваленный, до смерти загубленный кедр. «От начала своей жизни, – с горечью думал таёжник, – кедр должна расти лет двадцать, тридцать, прежде чем шишка на ней зацветёт!»

Бессовестно угробленные кедры он встречал в тайге за перевалами, куда никто из местных жителей не ходил – зачем тащиться в такую даль, когда кедрачи за околицей. Глядя на поваленные мощные деревья, таёжник не мог понять: кто с ними так лихо разделался? Буря сломала? Или другая какая-то страшная сила?

И вдруг будто молния жогнула – сердце опалилось, когда заметил большой обломок, похожий на коготь, застрявший в сердцевине белой кедровой кости. Внимательно рассматривая коготь двухпудовой тяжести, Подкидыш обомлел. Он побожиться мог бы и чем угодно поклясться – это его поковка, его удар с потягом, его умение так закруглять, так заострять железную деталь.

И в то же время он точно знал: никогда и никакого когтя не выковывал. И тогда осенило: «Отец! Я по его приказу сделал заготовку, а он потом уже доделывал? – От этой мысли парню стало не по себе. – Значит, где-то есть изба на курьих лапах?..»

Из тайги он прямо в кузню пришёл. Посмотрел в глаза отцу.

– С нечистой силой якшаешься? На сатану работаешь?

– Все кузнецы якшаются, – не сразу ответил батя. – Не я один.

– Я за всех не знаю, а то, что ты... Я не пойму, да как ты мог?

– Подрастёшь, поймёшь! Ступай! – оборвал Великогроз и, поднявши молот, так шандарахнул по наковальне – пыльное стекло в окне тонко пискнуло, кружевной паутиной распуская трещины, серебрецом искрящиеся на изломах.

Вот такой разговор состоялся. И после этого случая отношения между ними неуловимо изменились. Подкидыш теперь уже смотрел насторожённо, а порою дерзко. И Великогроз терялся, не зная, что придумать по поводу оболтуса, отбившегося от рук. И посоветоваться не с кем. Хрусталина, жена, баба всё-таки. А с кем-то другим поговорить по душам не получалось – гордость не давала. Гордыня. А поговорить-то можно было, к нему на кузню кто только не приезжал – коня подковать, новый обруч тележный сварганить, задвижки на ворота, решетку

на амбарное окно. Хвостатая очередь, бывало, с самой ночи вытягивалась – кузнец выходил рано утром, а перед воротами народ.

– А вы зачем сюда? Я на дому не кую.

– Да мы к тебе на кузню, Великогроз Горнилыч. Это очередь такая, кишкой по всей деревне растянулась.

Да, бывали и такие столпотворения. И там, на кузне, во время перекуров, когда мастер выходил на вольный воздух поостыть, там разговоров было – не переговорить, не переслушать. И многие – по простоте своей или болтливости – говорили не только о погоде или о видах на урожай.

Разговоры бывали самые разнообразные. И слухов там было немало, и сплетен, как это нередко случается в местах скопления говорунов, деревенских краснобаев. И постепенно из этой говорильни – как зерно из шелухи – выкатилась правда про Ивашку, куда он ходит и что он ищет. Старообрядцы, живущие в районе Золотого Устья, вот кто его приворожил. А точнее – девка, дочка староверов. Больше всего почему-то Великогроза обидело и даже оскорбило то, что это были староверы, кержаки несчастные, как он их обзывал.

«Я и раньше их не переваривал! – брезгливо гримасничая, думал кузнец. – Это они, видать, нарочно паренька сбивают с панталыку. Раскольники чёртовы. А может, даже не раскольники, а хуже – скопцы. Ещё при царе Косаре в эту глушь-тайгу сослали чёртову уйму скопцов, они тут земли покупали, расселялись. У них тут были, говорят, богатые скопческие общины. Вот и здесь окопались чёртовы скопцы!.. Это они мой род извести хотят! Искоренить! – думал кузнец, забывая, что Ивашка не родной, или напротив, зная, что он родная кровь. – Эти скопцы допрежь Ивана оскопят, опосля возьмутся за Апору – и хана всей нашей родословной. Что делать? Как его отвадить от Золотого Устья? Мало того, что могут оскопить, так он же, паразит, свой божий дар загубит. Городской человек говорил, что такого дара ни у кого не встречал. Ванька, он же, окаянный, может осенний листик отковать, червонным золотом покрыть – от настоящего не отличишь. Он, паразит, паутинку сковал, – тоньше волоса, кружева смастерил и паука в серёдку посадил. Из него кузнецарь получится – днём с огнём такого не найдёшь на Руси! А он что вытворяет! В Стольноград с какими-то бумажками улетел! Ждут его там, не дождутся. Много там таких Иванов-дураков – улицы будут мести, желудями трясти. Или простым грабарём, землекопом...»

Думал, думал кузнец, как отвадить парня от Золотого Устья – ничего толкового придумать не сумел. И вдруг среди жаркого лета – как снег на голову! – свалился помощник, способный разрешить эту проблему. Да только помощник такой, что Великогроз даже не знал – то ли радоваться, то ли печалиться.

6

Ранним летним утром Великогроз Горнилыч на кузницу шагал по тропке среди берёз, утюгами-сапогами разглаживал траву, изредка давил цветы, похожие на угли, выпавшие из горна. И в эту минуту кто-то сзади вкрадчиво, картаво сказал:

– Здорово, батя! Как ночевал?

Хлопая глазами, кузнец растерянно посмотрел по сторонам. Никого не видно. Только ворон сидит на берёзе. Крупный варначина, жирный, как поросёнок.

Передёрнув плечами – не столько от зябкого утра, сколько от предчувствия чего-то недоброго – Великогроз дальше направился. И опять окликнул кто-то – словно прокаркал. Кузнец оглянулся и обалдел.

Жирный ворон с дерева упал на землю, но не разбился, а превратился в доброго молодца в чёрных плисовых шароварах, в чёрной шёлковой рубахе. Одна рука у молодца похожа на птичью лапу.

– В чём дело? – Великогроз нахмурился. – Кто такой? Что надо?

– А ни черта не надо, у меня всё есть! – Незнакомец нагло ухмыльнулся, поправляя тёмные очки в золотой оправе. – Хотел привет от мамки передать.

– От какой такой мамки?

Продолжая стоять в тени, молодой нахал к чему-то прислушивался. Утро было тихое-претихое, только пичуги в берёзах изредка роняли перезвон.

– Ты на кузницу, батя? Ну, пошли, я там тебе сказку расскажу. Великогроз Горнилыч, не оглядываясь, пошёл привычной тропкой, а сам – непривычно для себя – стал лихорадочно соображать: что за тип такой? Наглючий, дерзкий. А рожа такая, как будто уже где-то видел... «Привет от мамки? Что это значит?» В голове кузнеца зазвенели молотки с молоточками. Он смутно припомнил прошедшие годы, когда вино и водка рекой лились; помнится, летал куда-то за тридевять земель; помнится, была дряхлая избушка на курьих ножках, а внутри такой блистательный дворец, что просто диво-дивное.

– У вас там что, беда? – тихо спросил он, оглядываясь. – Что-то опять сломалось? Коготь надо отковать? Или что?

– Счастье, батя! Счастье надо отковать! – Молодец опять нахально лыбился, поправляя тёмные очки. – Не поможешь?

Великогроз Горнилыч руку приподнял для крестного знамения:

– Ступай отсюда! Ухорез!

Варнак побледнел, с потаённым ужасом глядя на сильную длань кузнеца. А затем опять заушмылялся.

– Не перекрестись! Нет! Потому что гром ещё не грянул!

Хо-хо-хо.

Ещё не понимая, в чём тут дело, кузнец на руку посмотрел и ужаснулся; рука показалась многопудовой, неподъёмной, как бревно. И опять этот незванный чёрт расхохотался и поторопился.

Они пришли на кузню и молодой нахал стал осматриваться так, точно купить собирался всё это хозяйство – с потрохами. Трёхпалой рукою похлопав по бревнам, варначина сказал:

– Батя, а ты здорово придумал: дом у тебя, говорят, железом оббит, а сверху – для отвода глаз – деревянные доски. Ловко замастырил, батя. Только мамка-то придумала куда ловчей. Мамка, знаешь, как сказала? Что не сторит, то потонет. Смекай. Мы, говорит, если что, с корнем хату выдернем и забросим в море-океан.

– Что надо? – оборвал кузнец. – Говори.

– Вот. Другое дело. – Нечаянный гость снова к чему-то прислушался. – Скажешь Ваньке своему, Подкидышу несчастному, чтобы перестал ходить на Золотое Устье.

Кузнец ошалел – настолько это совпадало с его собственным желанием.

– Скажу, – обрадовался, – обязательно скажу.

Но в следующий миг радость померкла в глазах кузнеца, потому что варначина пригрозила:

– Ежли он туда не перестанет ходить, я один раз подкину его и не поймаю ни разу. Не посмотрю, что он мой брат. Так и передай.

– Чего? – Кузнец сердито сплюнул – словно картечиной стукнул в жестянку, лежащую под ногами. – Ты – Ванькин брат? Не смехи...

Пожав плечами, гость заговорил голосом кроткой овечки или, вернее, кроткого барана:

– Ну, если ты не хочешь признавать родство – придётся подавать на алименты! – Тёмные очки от хохота затряслись на переносице наглого чёрта. А затем он твёрдо заявил: – Короче, так. Если Ванька будет ещё клинья подбивать к моей невесте...

Измученное лицо кузнеца посветлело. И чем дольше он слушал нахального чёрта, тем сильнее радовался.

– А почему ты сам Ваньке не скажешь об этом?

– Я скажу, так он костей не соберёт! У меня это мигом! – похвалился молодчик и потрогал шишку на переносице. – А ты с ним по-отечески, так сказать, полюбовно. Объясни, что этого делать не надо.

Кузнец хотел что-то сказать, но вдруг за деревьями где-то раскатилось протяжное и зазвонистое «кукареку». Бледнея, нечаянный гость подскочил.

– Ох ты, подлюга! Ишь, как разорался!

– Кто? – Великогроз Горнилыч посмотрел по сторонам. В последние годы он жил тугоухом – профессиональная хвороба кузнецов. – Не слышу ни хрена. Поработай-ка на этой звоннице.

– Каждому своё, – заметил картавый, трёхпалой рукою вынимая уголёк из горна. – С вашего позволения, да? Вы не против? А то захочешь прикурить – и нечем.

– Не балуй! – Голос кузнеца посурился. – Верни!

Угольки в этой кузнице были не простые, а воистину золотые. Остывая, такой уголёк превращался в червонно-жёлтый камешек, который можно в кармане носить, а когда необходимо – положил на бересту, подул на уголёк и вот тебе, пожалуйста: уголёк затеплится внутри, заискрит, заиграет лепестками огня. Никому и никогда Великогроз не давал угольки, и не потому, что скупердяйничал. Эти угольки – потомственная ценность; прадед железную шкатулку перед смертью передал деду своему, тот передал отцу, который был глухонемым Данилой по прозвищу Горнила, а от него угольки перешли в наследство к Великогрозу Горнилычу.

Перекрывая дорогу нахальному гостю, кузнец погрозил расплюснутым пальцем, похожим на стамеску, сверкающую ногтем, точно острым лезвием.

– От этих угольков не прикуривают! Молодец охотно согласился:

– Хорошо, не буду. Погреюсь в непогоду.

– Ты не понял? – пробасил кузнец. – Так я тебе по-русски говорю: поклади на место.

– По-русски будет – положи, – с улыбочкой заметил наглый умник и снова потрогал шишку на переносице, где сидели тёмные очки. – А что? В чём дело? Почему? У тебя, как видно, и снега зимою не выпросишь? Да?

– Приходи зимой, поговорим. А теперь – клади на место и катись.

– Нехорошо ты, батя, поступаешь. Не по-христиански, можно сказать.

– А ты, я гляжу, молишься так, что лоб разбил... Варнак потрогал шишку на переносице.

– Да это я летать учился, батя. С печки на пол. А печка-то стояла под облаками. Прикинь! Печка в избушке на курьих ножках. Не помнишь такую? Ох, батя, батя! – Молодой нахал будто не на шутку загорюнился. – Нехорошо ты себя ведёшь. Прямо скажем, не по-христиански...

– Ты мне зубы-то не заговаривай. Верни уголёк.

– Хорошо, как скажешь, батя. Мы положим уголёк, чтобы чёрт не уволок.

Извиняясь, извиваясь, подобострастно кланяясь, как шут гороховый, нахальный молодец положил на место волшебный уголёк, и вежливо отретировался. А на самом-то деле – как стало ясно через несколько минут – чертяка этот, хитрован культяпый только сделал вид, что положил уголёк на место; он всё-таки сумел зубы кузнецу заговорить, глаза отвести. Великогроз Горнилыч это понял, когда остался один и взялся огонь раздувать...

Розовощёкий кузнец побледнел, обнаружив обман. Он почему-то был почти уверен, что именно за этим угольком и приходил незнакомец. И через этот самый уголёк может разгореться великая беда. Что за беда? Какая? Кузнец пока не знал, но сердце чуяло. И работа стала из рук валиться – железяки то и дело падали на ногу, даже малость охромел. И мысли в голове роились, будто пчёлы, поминутно жалили. Что делать? Как узнали, что изба железная? Временами кузнецу хотелось плюнуть на работу и пойти поскорее домой. А дома? Что он сделает? Начнёт

перестраивать хату? И откуда они, эти черти, узнали, что изба у кузнеца железная? Только ведь изнутри-то она – деревянная. Изнутри-то можно подпалить.

От этих печальных раздумий кузнеца отвлекла соседская девчонка. Редко она приходила сюда.

7

Девчонку звали Незабудка или Незабуда. Она имела не земные, необыкновенные глаза – голубые с золотистым зрачком – раз и навсегда они запоминались каждому, кто хоть мимоходом посмотрел на эту милую деваху. Незабудка – кузнец давненько знал – равнодушна была к Ивану. И вот она пришла со своей сердечной заботой, своей проблемой, которая заключалась в какой-то наивной присухе, так это понял кузнец.

– Дядя Гроз, – опуская необыкновенные свои глаза, пролепетала девчонка, готовая разнюниться. – Дядя Гроз, а вы можете мне дать паутинку? Мне это надо, ненадолго.

– Какую паутинку? – изумился кузнец. – Ах, вот эту! Которую Ванька сковал? А зачем она тебе?

Смущаясь, Незабудка от волнения покусала лепестки своих розовых губ.

– Дядя Гроз, мне нужно, я верну...

Дядя Гроз отошёл от горящего горна, чёрным расплюснутым пальцем приподнял девичий подбородок.

– Ну, и что ты задумала? А? – Вспоминая утреннего гостя, кузнец пробормотал: – Или ты мне тоже привет от мамки хочешь передать?

– Мамка не знает, – пролепетала девочка. – Вы мамке не говорите.

– Вот горе-то! – Кузнец разжалобился. – Ну, что там у тебя?

Давай как на духу...

И тогда соседская девчушка показала два дешевеньких кольца, которые надобно – по её разумению – тонкой цепочкой связать, нашептать на них старинный заговор, слезою окропить и что-то там ещё наколдовать, чтобы сделать присуху на любимого парня.

Тяжёлою рукой погладив нежный цыплячий пух на голове девчушки, Великогроз Горнилыч пожалковал:

– Что, милая, так сильно прикипело? Да я и сам бы вышел замуж за тебя. Тьфу! Я говорю, отдал Ванятку бы! Ты хозяйская девушка, скромная. Да только, видишь, он какой. Не по глазам ему такой цветок, который вырос прямо под ногами. Он глаза свои вылупил куда-то за горы, за доли. И я даже не знаю, Незабудка, ума не приложу, как помочь тебе...

Они помолчали. Угольки потрескивали в горне.

– Дядя Гроз, дядя Гроз, – опять залепетала девчушка, – а у вас, говорят, есть волшебный огонь?

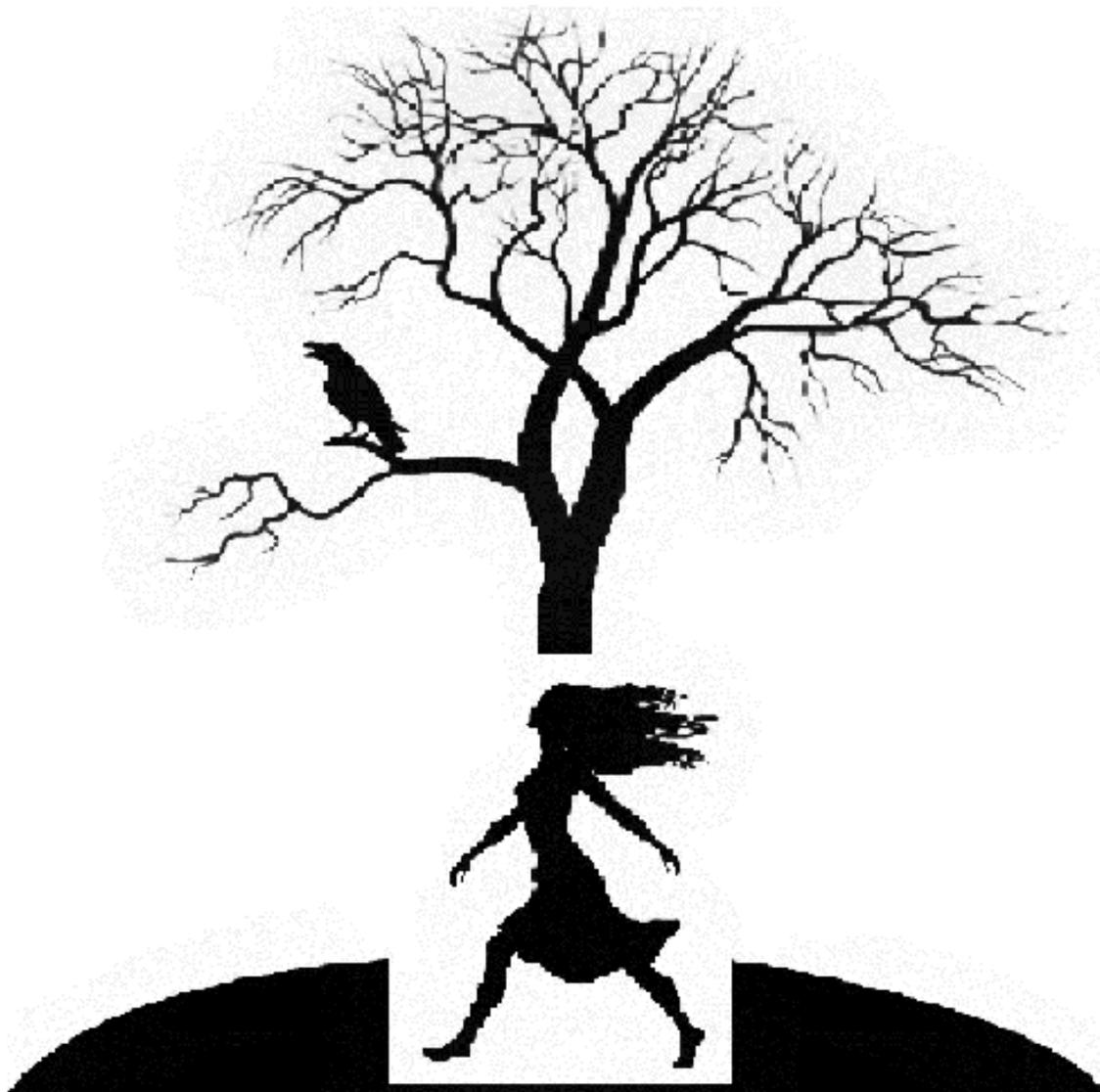
Кузнец полной грудью вздохнул – будто зашумели кузнечные меха. «Огонь-то есть, да не про вашу честь!» Собираясь отказать девчушке, он как-то неожиданно размяк, рассиропился, больше всего, быть может, озабоченный судьбой Ивана, чем судьбою этой соседской соплюшки. И под воздействием сердечного сиропа, который всегда мешает трезвому рассудку, Великогроз Горнилыч подарил девчушке волшебный уголёк, в сердцевине которого затаилось золото жаркого огня. Такой уголёк, если к нему прибавить наговор-молитву, даже ледяное сердце может распалить.

Соседская девчушка, сияя незабудками глаз, убежала из кузницы – земли под собою не чуяла.

А кузнец вторично за день побледнел; первый раз после того, как ушёл нечаянный гость, хитроумно своровавший уголёк, и теперь вот, когда кузнец будто сам себя обворовал; будто во

сне или в бреду отдал зачем-то волшебный уголь. Отдал, а через минуту спохватился: «Что я делаю? Она ещё дитя! Разве она может огнём распорядиться по уму?»

Глядя вослед убегавшей девчонке, Великогроз Горнилыч снова затревожился: через этот малый уголёк может разгореться великая беда.



Глава седьмая. Цветок посреди пепелища

1

Чудесная была фамилия у мамы – Незабудкина. Только любовь, она ведь зла – замуж мамочка пошла. Любовь была горячая и мамина фамилия сторела, превратилась в пепел; так она позднее детям говорила. В общем, стала мама Пепелищева. Детей было трое – два сына и дочка. Сыновья – угрюмые, неразговорчивые, кулаком лишний раз поколотят, чем языком. И оба сыночка в папашу лицом удались, а точнее, в деда, беглого сибирского каторжника, которого в кандалы забили – «музыку на ноги нацепили» за поджоги, вот почему он назывался Пепелищев. У парнишек рожи были каторжанские, зато какая доченька уродилась, куколка – на загляденье. Кто раз посмотрит, век не забудет, потому как это – Незабудка.

Мать настояла, чтоб так назвали.

– Девичья фамилия моя превратилась в пепел, – говорила она, – так пускай цветок растёт на пепелище. Незабудка.

Пепелищев, мужик степенный, молчаливый, только плечами пожал; ему без разницы.

Тихий, скромненький «цветок на пепелище» с каждым годом хорошел, расфуфыривался. Жизнерадостный цветочек, синеглазый, нежный, с тонкими руками-лепестками, на толстых крепеньких ножках, почти всегда прикрытых цветастым длинным платьем. Другие «живые цветы», которые были в букете, – в школьном классе, – вызывающе ярко наряжались порой, стараясь привлечь к себе внимание. А эта Незабудка – никогда ничем не выделялась. Была она девочка не по возрасту строгая, прилежная, да к тому же круглая отличница; и всё это вместе служило немым укором для остальных, не очень строгих, не шибко прилежных и не всегда и не во всём преуспевающих. Вот почему, наверно, в школе Незабудку недолюбливали.

– На пепелище только иван-чай растёт, – говорили остряки, – а незабудки растут на навозе.

– А дураков никто не пашет и не сеет, сами рождаются, – фыркала девчужка.

С первого класса она втрескалась в Ивашку, петухом расшитую рубашку. И настолько это было не по-детски, настолько глубоко, серьёзно, что родители даже забеспокоились: как бы чего не вышло. Но девочка по-прежнему училась на «хорошо» и «отлично», и никаких проблем родителям не создавала. И они порешили: пусть будет так, как есть, а со временем всё будет так, как надо. Родители надеялись, что эта «дитячья придурь» обязательно пройдёт. Но время шло, а сердце девочки не только не остывало – разгоралось на ветрах весёлой юности. Незабудка откровенно бегала или, как тут говорили, ухлёстывала за Ивашкой, нисколько не смущаясь, не боясь насмешек, не обращая внимания на то, что он к ней равнодушен. Зато Апора, старший брат, души не чаял в Незабудке, ухлёстывать за ней пытался, ухажерить, но девочка, взрослея, начиталась романтических книжек, и однажды заявила, что она «другому сердце отдала и будет верной как скала». Отступившись от неё, Апора стал с потаённой неприязнью присматриваться к Ивашке: что она в нём могла найти? Апора не то, чтоб ревновал, но всё-таки посматривал на брата с холодком, даже с какой-то затаённой враждебностью. И однажды они даже подрались. Апора, как старший брат, был сильнее, наподдавал Ивашке и пригрозил ещё вломить, если он не прекратит издеваться над соседской девчонкой. Парнишка не понял тогда, в чём заключалось его «издевательство». Наверно, в том, что не обращал внимания на Незабудку. Но что же он поделатать мог? Насильно мил не будешь.

И он с собой поделаться ничего не мог, и она не могла. Незабудка, хотя и понимала, насколько это глупо, а всё равно не думала от Ивашки отставать; всё равно надеялась на что-то; любящее сердце так устроено.

Внешне парень был недоволен и раздосадован – временами «цветок на пепелище» начал надоедать. А в глубине души – чего уж там греха таить – он был польщён и порою даже ощущал отсутствие внимания со стороны Незабудки, если она уезжала куда-то или просто подолгу не возникала на горизонте. Но всё это было до той поры, пока в судьбе Подкидыша не возникла царевна Златоустка. Всё остальное перед ним померкло, и теперь Ивашке было всё равно, кто там ходит за ним – Незабудка, Маргаритка или Полынь с Крапивой.

И поэтому он не заметил, как Незабудка провожала его в тот день, когда он улетал в Стольный Град – провожала, как серая тень, нигде и никак не выдавая себя. И ждала она Ивашку, тревожилась, потому что видела дурные сны; ждала с нетерпением; каждый день встречала самолёт, приземляющийся на закрайках деревни. И успокоилась только тогда, когда увидела, что он благополучно вернулся из путешествия. А Подкидыш опять не заметил её, тихую, как тень, кроткую, из-за плетня смотревшую, как он идёт – походка гордая, грудь выкатил. «И раньше-то, бывало, к нему не подойдёшь, а теперь и вовсе...»

Дом Пепелищевых стоял почти через дорогу, и нужно было свернуть в переулок, чтобы к родной избе пройти. Свернул Ивашка – и вдруг споткнулся на ровном месте; худая примета. Едва не упав, он так повернулся лицом, что глаза невольно ухватили окна дома Пепелищевых – там занавеска взмахнула белым крылом в самом крайнем окне. Простован догадался, кто смотрит, следит.

– Сколько можно? – Он сплюнул в сердцах. – Надоела!

2

Кузнец, тугой на ухо, не услышал, как звякнула железная щеколда на калитке. Зато услышал воробей – испуганно взлетел перед глазами, заставляя насторожиться. Не спеша поворачиваясь, Великогроз Горнилыч увидел сына, входящего во двор. Только увидел он не прежнего Ивашку; за несколько дней – точно за несколько лет – парень удивительно переменялся. «Ишь ты! И глядит орлом, и костюмчик у него какой-то фильдеперсовый!» – подумал кузнец, плохо понимая, что это такое «фильдеперс»; слышал звон, да не знает, где он.

– Здравствуй, тятя! Ну, как вы тут?

Отец по хозяйству возился, вилами навоз разгребал. Не отвечая на приветствие, он отчуждённо сказал, опираясь на вилы:

– А мы уже думали, ты навернулся на ероплане.

– С чего это вдруг? – растерялся Ивашка.

Тугоухий кузнец не расслышал, а переспрашивать не захотел. Бесцеремонно высморкался и пальцы вытер о подол не заправленной тёмной рубахи.

– Ну, что? – Отец заметил увядающий синяк под глазом парня. – Хорошо погулял?

– Я не гулял, я по делу.

Краснощёкое лицо кузнеца – точно кованое из меди – ничего не выражало. Только глаза почему-то были печальные.

– Ну, и как? Много денег промотал? Прибарахлился, вижу. С улыбкой посмотрев на обновку, Ивашка стал объяснять:

– Это старик подарил, такой интересный старик... Великогроз Горнилыч, не слушая, наблюдал за проклятой соседской свиньёй – с той стороны забора повадилась, каналья; вот и теперь показалось грязное мурло, роющее землю и потихоньку отрывающее доску.

– Ах ты, паскудь! – поднимая вилы, закричал отец. – Заколю! Подкидышу на мгновение вдруг показалось, что это на него отец готов наброситься с вилами, но в следующий миг он заметил свиную харю с маленькими, сатанински мерцающими глазками.

– Пошла! Зараза! – крикнул парень, ногою собираясь треснуть по свиному рылу и в то же время не желая новые штиблеты замарать.

Батька это понял. Нахмурился, ворча:

– Хозяйство рушится, а мы на самолётах... Ивашка в сарай смотался, гвозди принёс, молоток.

– Дай сюда! – потребовал отец. – Ты уже, поди, позабыл, с какого конца по гвоздю елдануть.

Приколачивая доску, он машинально покосился на Подкидыша, и молоток со скользом стрельнул по гвоздю – погнул, высекая искру. Сердито сопя, кузнец ухватился железоподобными пальцами – как гвоздодёром – выдрал покалеченный гвоздь. Выкинуть хотел, но прижимистый характер не позволил. Пальцами он выпрямил гвоздину и, зачем-то поплевав на остриё, снова стал ожесточённо заколачивать. Шляпка в дерево ушла – утонула на полсантиметра. Привыкший всё делать основательно, прочно, Великогроз Горнилыч попутно пошатал ещё две-три доски, проверил на прочность. Шумно сплюнул под сапоги. Ногтем-стамеской поцарапал щетинистый подбородок.

– Ну, как там Стольный Град? Шумит? – спросил он, меняя гнев на милость.

Однако парня рядом уже не было – ушёл в избу и замер у порога. Стоял, смотрел на чистое и милое убранство, которое как будто не видел много лет.

Старые ходики неутомимо шагали, побрякивая какою-то ослабленной жестянкой, словно подковкой на миниатюрном сапожке. Две гирьки – две килограммовых еловых шишки, окрашенные в зеленовато-серый цвет – висели на длинной цепочке; года полтора назад Ивашка мастерски выковал эти шишки и мелкозернистую цепку. Опустившись на табуретку возле порога, Подкидыш, утомлённо вздыхая, о чём-то задумался, новыми глазами осматривая старое убранство. После дальней дороги он себя почувствовал в гостях, а не дома. И всё ему тут показалось каким-то сиротливым, неказистым, и в то же время – милым, дорогим... Пылинка медленно кружилась, колобродила в воздухе перед окном, куда падали косо наклонённые лучи. Пролетела сонно жужжащая муха, мерцающая крылышками, словно сусальными лепесточками. Сверчок за печкой неожиданно пиликнул... И вдруг подумалось, минута эта – минута счастья, которая впоследствии будет вспоминаться, как очень дорогая, невозвратная.

В комнате, в своём закутке Подкидыш увидел два каких-то дешёвеньких позолоченных кольца, друг с другом связанные тонкой стальной паутиной, той самой паутиной, которую он когда-то отковал на кузнице. «А это здесь откуда?» Парень постоял возле окна, посмотрел на дом Пепелищевых – через дорогу. И снова ему стало неприятно, как давеча, когда споткнулся в переулке и внезапно обратил внимание на пепелищевский дом. Только теперь уже было не только неприятно – худое предчувствие кольнуло сердце. Выходя из своего закутка, загремел какою-то железкой – отец опять из кузницы принёс.

Дед Илья, проснувшийся на русской печи, тоже встретил парня как-то холодно и отчуждённо – не похуже отца.

– Ну, дак чего? – спросил Илья Муромец, по-богатырски глядя из-под руки. – Давай, хвались. Не зря мотался в эдакую даль? Пропечатали?

– А как же! Пропечатали! Сначала в лоб, потом по лбу!

Дед закурил – дымное облако под потолком забелело голубем.

– А я тебе што говорил? А ты не верил...

– Да ладно! – Широко улыбаясь, парень подошёл к нему и взволнованно заговорил: – Зато я встретил там, знаешь, кого? Он с Пушкиным работал и с этим, как его? С Достоевским. И даже с Гоголем горилку пил...

Дед поперхнулся дымом – искры брызнули.

– А ты сам горилку-то не кушал?

– Нет. – Продолжая улыбаться, парень ещё немного с дедом поговорил и отошёл от печки, в недоумении пощипывая усики. – Я что-то не пойму, в чём дело? Батя мрачный, волком смотрит – ну, это понятно. А ты чего? Какая муха цапнула тебя?

– Тут не муха цапнула и даже не собака... – Докурив самокрутку, дед Мурава из-под руки посмотрел в окно в сторону леса. – Не хотел говорить, тока шило-то в мешке не утаишь...

– Какое шило? – Парень насторожился. – Что случилось?

– По деревне ходят слухи... – Илья Муромец помедлил. – Говорят, будто они свою заимку бросили. Уехали куда-то...

– Кто? – Подкидыш, догадываясь, начал бледнеть. – Ты про кого это? Дед! Не томи! Ты откуда знаешь про заимку? Ну?

Великогроз Горнилыч в дом вошёл на минутку, взял железо, мерцающее под лавкой, угрюмо усмехнулся, посмотрев на сына и, хлопнув дверью, затопал сапогами на крыльце, а вслед за этим за стеной забренчала телега – батя на кузню поехал.

И опять Ивашка заволновался, – просил и требовал ответа на вопрос: что случилось?

Дед пятернёй поцарапал сено густой бороды.

– Охотник приходил. С той стороны деревни. Из-за ручья. Шёл по своим делам, да завернул. Мы с ним старые друзья. Вот он и рассказал, будто уехали они. С твоей зазнобой.

Помолчав, парень тоскливо посмотрел за окно.

– А может, враки?

– Может, – согласился дед, собираясь лечь. – Я не знаю. За что купил, за то и продаю.

Неожиданно раздражаясь, Подкидыш передразнил:

– Купил!.. Продал!.. У вас тут, ёлки-зелёные, только одно на уме! Дед широко зевнул, показывая остатки зубов.

– Чего ты взвился? Коршун.

– Да ничего.

Покряхтывая, дед улёгся на печи – с удовольствием потянулся.

– Ты поешь с дороги, отдохни, – пробормотал он, крестясь. – Намаялся, небось...

Парень кругами походил по комнате. Постоял, посмотрел на старенький голубой ковёр с гусями-лебедями из русской сказки.

– Переживём как-нибудь, перекуём мечи на калачи, – задумчиво проговорил и вспомнил про стальную паутинку, так хорошо откованную в кузне, а теперь висящую в закутке над столом. – Дед! А без меня сюда никто чужой не приходил?

– А кто? Охотник тока. Больше никого. – Дед-лежебока снова широко зевнул. – Мимо меня и мышь не промелькнёт.

«Мимо тебя не только мышь – кот в сапогах протопает!»

– Ладно, отдыхай. А я, наверно, баньку истоплю.

– Хорошее дело, – согласился лежебока, не открывая глаза. – Может, и я попарюсь. Кости ломит. Охо-хо... Старость, не радость, а гроб не корысть.

Ивашка расторопно снял свой модный «фильдеперсовый» костюмчик. Переделался в грубую сермягу повседневноности.

Предвечерние сени были наполнены голубоватым полумраком, наискосок прошитым золотой ниткой закатного луча. Задумываясь, парень загляделся на березовый короб, с которым обычно ходил по тайге. От сильного волнения в душе снова пробудилась незаурядная магическая сила. Глаза его как будто стали лучиться, и берёзовый короб вдруг потихоньку поехал по лавке – поехал навстречу Ивашке. Он подхватил этот короб и, не задумываясь, вышел со двора.

3

Вечернее солнце – натужно покрасневшее, подёрнутое сизо-металлической окалиной по краям, но червонно-медное посередине – тяжелело, теряло высоту над синими горами, над кронами дальней тайги, непроходимо столпившейся на перевалах. А дорога-то была далёкая, высокая – за перевал, за две реки, за три ущелья, и придти он мог туда уже в полнейшей темноте. Рискованно. Только это ничуть не пугало – отчаянный парень: и море по колено, и облака по грудь. Страх совсем другого рода сердце припекал, когда Ивашка напропалую шурувал по тёмно-синим буреломам, по камням, где сверкали росы на кустах, на деревьях, напоминая волчьих глаза.

Подкидыш опасался, как бы слухи не подтвердились – насчёт царевны. Куда она уехала? Зачем? Что там случилось? Что могло их с места сдёрнуть? Сколько лет они там жили, неистово молились, и вот на тебе...

Отгоняя от себя худые мысли, он торопился, и потому не скоро заметил какого-то чёрного ворона, который незаметно следом увязался – за первым перевалом, или после второго ущелья. Варнак тот был необычайно крупный, жирный, как поросёнок. Он даже как будто похрюкивал, а не покаркивал. Какое-то время ворон втихомолку летел как на привязи – не отставал, но и вперёд не рыпался. Как только путник останавливался дух перевести – ворон опускался на вершину кедра или сосны. Причём так садился, чёрт его дери, будто ногу на ногу закидывал. Подкидыш подумал, что это мерещится, но потом, когда ворон оказался поближе – сомнений уже не оставалось. Варнак действительно сидел, закинув ногу на ногу. Более того, этот стервец курил и временами даже сплёвывал на землю.

– Вот это фокус! – Подкидыш крепко зажмурился. – Надо было отдохнуть с дороги. Ишь, какая дрянь стала мерещиться. Так, чего доброго, и сосны пешком пойдут по тайге и станут ногу на ногу закидывать, отдыхая на перевалах...

Он специально думал вслух – так спокойней было, да только уж какое тут спокойствие. Чем ближе подходил он к заветной заимке, тем сильней душа болела, будоражилась. И ветер уже наносил порывами какого-то могильного тления или пожарища. Хотя, конечно, это могла быть тлетворная туша сохатого, задранного медведем и спрятанного где-нибудь в чашобе. И всё-таки тревога обжигала душу. А когда Ивашка, чуть не ломая ногти, по острым камням вскарабкался на перевал, с которого должна была открыться небольшая долина, – ужас охватил.

Никогда ещё он не видел такого лучезарно-кровавого заката. Стоя на вершине перевала, где соловьём-разбойником свистел холодный ветер, он перекрестился, глядя туда, где солнце погибало в кровавом озере, далеко расплескавшемся по изломанному горизонту. Скорей всего, это был обыкновенный, «рядовой» закат, предвещающий непогоду на завтра, но парень в этой картине увидел нечто вроде божьего предзнаменования. Слишком необычно, слишком ярко и жарко разыгрались краски в небесах и в горах. Берёзы, толпами стоявшие на косогорах, почти в буквальном смысле кровоточили закатной кровушкой. Высокогорные далёкие снега, укрываясь туманом, представлялись тушами парного, дымящегося мяса, с которого недавно содрали кожу. Ручей в камнях поблизости пульсировал червонно-синими потоками – как большая вскрытая артерия...

Встряхнув головою, Подкидыш нарочно стал спускаться по камням к тому ручью, который почудился «кровавым». Он доказать хотел себе, что всё это игра воображения и простой пустопорожний вымысел. Но когда он руки сунул в воду, чтобы умыться – похолодел от ужаса и явственно почувствовал, как волосы ворохнулись ворохом на загривке, на висках и на макушке.

По ручью бежала не вода – настоящая кровь клокотала, розовой пеной завихряясь в камнях и между ветками склонённой ивы. Разинув рот, Ивашка не только не мог подняться, чтобы рвануть наутёк – даже руки от ручья не мог отнять. Руки, мелко подрагивая, полоскались в тёплой, густой крови и поминутно пропускали между пальцев кровавые сгустки, похожие на осенние листья, сбитые ветром с холодных осин. И сколько он так просидел у кровавого ручья, неизвестно. И наконец-то ноги сами собой подхватили его и понесли. И сколько он бежал, куда бежал, едва не оставляя уши на сучках, едва не выкальвая глаза, едва не выворачивая ноги в лодыжках, – позднее он толком ничего не мог припомнить.

Где-то за камнями, за деревьями, обессилев, запыхавшись, Подкидыш рухнул на траву. Хрипя, отдышался, руки в ручейке отмыл от крови. Полежал, поглядел в небеса, где начинали мерцать первые звёздочки.

«Что это было? – брезгливо морщась, он оглянулся. – Что за кровь? Может, волк свою жертву настиг неподалёку, зарезал, и свежая кровь потекла по ручью как раз в ту минуту, когда я собрался руки сполоснуть? Или, или... Даже не знаю, что подумать...»

Добравшись до места, он понял: худое предчувствие не обмануло. Предполагая оказаться около заимки, парень оказался на пепелище. И двухэтажный бревенчатый дом, и сеновал, и пасека, и медогонка в районе Золотого Устья – всё дымом и пеплом по тайге разлетелось. На пустой поляне у реки, где ещё недавно шелками шелестело разнотравье, где свечками стояли огоньки-жарки, цветами радуги радовали глаз фиалки, медуница, донник – там были одни головёшки да угли, будто чёрные розы, мерцающие росой, уже успевшей окропить пепелище.

Глядя на жуткий разор, Подкидыш задумался. Поначалу показалось – молния, гроза виновата в этом жутком пожаре. Но потом, когда он побродил вокруг да около, стало понятно – поджог. Парень, конечно, мог и ошибаться, да только вряд ли. Заимка выгорела как-то так, точно специально выжигали.

«За что? – Он застонал. – Кержаки тихо-мирно жили, о спасении души молились, опасаясь прихода Антихриста...»

И вдруг он содрогнулся и похолодел. В тёмной тишине почудилось «пришествие Антихриста» – широкие и жутко-скрипучие шаги. Бум-бум-бум... Хрясь-хрясь-хрясь... Звуки были отчётливые – эхо откликалось по ущелью. Может быть, это падали гнилые деревья – одно за другим? Или камни с гор катились, громко и грозно сшибаясь гранитными лбами? Подумав об этом, Подкидыш тут же понял, что никакие это не деревья и не камни. Это было – куда страшнее.

Избушка на курьих ножках топала по горам, по тайге.

Человек смотрел – глазам не верил. Это была избушка а-ля рус – под старину построили, но видно, плохо знали старину, потому что новый стиль модерн там и тут выглядывал из-под старины, как новое платье может выглядывать из-под старого. Два кровавых глаза – два окна – моргали, как живые, хлопали ставнями-ресницами. Кучерявым чубом над трубой дым развивался – искры вылетали, а иногда вдруг выскакивало даже горящее полено, только почему-то не падало на землю, а кружилось в воздухе, словно жар-птица, и пропадало, сгорая.

Оторопев от страха и потому не сразу спохватившись, парень попятился и побежал – поспешил укрыться за прибрежными валунами, чтобы избушка эта ненароком не затоптала своими уродливо-большими куриными лапами. Выглядывая из-за укрытия, он увидел свет керосиновой лампы в одном окне – кривом и низеньком. Крестовина в окне показалась непомерно большой – точно кладбищенский крест присобачили вместо нормальной оконной рамы. И чем ближе подходила та избушка, тем сильнее сотрясалась земля – травы, кусты дрожали, рассыпая росы... И всё нахальней, всё громче раздавалась разбитная музыка, гремящая внутри, – там как будто пели и плясали, справляя жуткий праздник. Белка всполошилась в дупле неподалёку – выскочила, мерцая глазёнками. Две-три пичуги пролетели, покидая тёплые

насиженные гнёзда. До полусмерти перепуганный заяц – точно белобрысый колобок – прокатился по склону и моментально пропал.

Пригибаясь, чтобы не заметили, Подкидыш наступил на сухой сучок – раздался треск, который показался выстрелом...

И вдруг избушка – словно там услышали сухой щелчок – на несколько мгновений остановилась. Потопталась на месте, втаптывая в землю валуны величиною с бараньи головы. Два огненных глаза-окна покосились туда, где затаился человек. Избушка повернулась, принялась трубой и неожиданно пошла напрямиком на парня, который стоял у обрыва – отступить было некуда. Всё, хана, мелькнуло в голове, сейчас его затопчут примерно так же, как слон котёнка...

Зажмуриваясь, он двумя руками уши зачем-то заложил, будто в тишине его не тронут. Кровь кипела в ушах, в голове, кровь закапала из носа, как из рукомошника – такое давление вдруг поднялось на краю гибели... Но, видно, не судьба ещё, не пробил час, потому что через несколько секунд – когда Подкидыш посмотрел по сторонам – видение пропало, и в тёмной тишине только листья трепетали на осине, стоящей поблизости.

– Я не понял, – прошептал он, обращаясь к белке, сидящей около дупла, – что это было?

– Цо...цо...цо! – зацокала белка и стремглав заскочила в дупло.

В тайге стало тихо. Вода, словно бы остановившаяся на несколько минут, снова побежала, жалобно журча под берегом. И вечерний туман, побелевший от страха и тоже ненадолго минут остановившийся, точно опомнился и дальше пополз по траве, по кустам.

И тут – в новорождённой тишине – Подкидыш впервые услышал большого и странного ворона, сидящего на горелом дереве, уродливо торчащем над поляной. Причём услышал не простое вороново карканье – это были звуки, подобные дикому хриплому хохоту; словно от чёрного неба дерюжный лоскут отдирали пытались. И этот дикий хохот варнака – в тишине и в пустоте туманного ущелья – разносился так далеко, точно стая жутких чёрных воронов переполошилась там и тут, хохоча, крича и топоча, и заполошно хлопая крылами.

А затем случилось нечто удивительное и необъяснимое.

Луна медленно вставала над горбушкой перевала – серебристо-голубым сугробом. Яркие лучи её – косыми тонкими стрелами – сначала прострелили гранитные расщелины в горах, а затем во всю моченьку ударили из-за хребта, беззвучно втыкаясь в реку, в тёмный омут под берегом, вонзаясь между кронами глухого чернолесья. И варнак, беспечно сидящий нога на ногу, странно как-то, подбито вскрикнул, задетый серебристым наконечником лунной стрелы. Чёрным крестом расправив крылья – на фоне луны хорошо было видно – варнак испуганно взлетел с горелого дерева и опустился на ту вершину, которую луна ещё не осветила.

«Ах, вот оно что, – стал догадываться Ивашка. – Этот варнак, антихрист, лунного света, наверно, боится?»

Так оно и было. Чем сильнее распалась белая пламя луны, тем дальше отлетал хрипчатый ворон, будто яркие лунные стрелы буквально втыкались в него. И наконец-то варнак совсем пропал из виду – синевато-бледный свет разлился по всей округе. И в этой мёртвой тишине при большой, полноводной луне было особенно горько стоять на пепелище. Стоять и вспоминать, где и как он повстречал свою царевну Златоустку, о чём говорили, о чём так прекрасно молчали...

Подкидыш побродил по пепелищу и сердце дрогнуло – что-то вдруг заметил под ногами. Поднял, присмотрелся. Это был уголёк, с виду простецкий, похожий на червонно-желтый камешек, холодный, гладкий. Но парень уже понял, что это за штука – такие угольки можно сыскать только у отца на кузне. И чтобы в этом удостовериться, Подкидыш положил уголёк на ладонь и начал усиленно дуть – камешек внутри стал разгораться, искорки посыпались, а через минуту пламя заиграло золотисто-синими лепестками, обжигаящими ладонь. Сомнений быть

не могло – это уголёк из кузницы. «А как же он сюда попал? – в голове Подкидыша промелькнула страшная догадка. – Отец? Да нет! Не может быть!»

Он подождал, когда волшебный уголёк остынет – положил в карман.

Время от времени луна за облаками пряталась – тёмные круглые копны туч-облаков катились по небу, всё плотнее скирдовались над перевалами. Собираясь покидать испепелённую заимку, Подкидыш заметил живые цветы, чудом уцелевшие посреди пожарища – царские кудри; они стояли в центре обугленной поляны, кудрявились под набегающим ветром, который при свете луны казался ветром посеребрённым. «Эти царские кудри выросли там, где упал волосок с головы царевны!» – благоговейно подумал парень, срывая и пряча цветок в тёмную и тёплую утробу заплечного короба.

И только он спрятал цветок – в тёмных кустах и деревьях неподалёку что-то сухо и громко затрещало, захрускало – точно избушка на курьих ножках опять шаршилась. Готовый задать стрекоча, он пригляделся. Нет, не избушка идёт.

При свете луны обозначилась какая-то горбатая фигура, бредущая берегом. Заволновавшись, парень пошарил под ногами – каменюку поднял на всякий случай.

Сутулая фигура человека – по мере приближения – обрастала чёрными лохмотьями, свисающими с плеч, боков. А затем фигура вдруг зарычала медвежьим басом – железным, громко-подобным, слегка надтреснутым.

Шагов десяти не дойдя до человека, медведь устало опустился на прибрежный валун.

– Не бойся, парень, это я, – пробасил он, красновато мерцая глазами.

Ивашка догадался, но всё-таки спросил:

– Кто это – «я»?

– Медведядька. Сторож тутотшний. Помнишь, ты мне возле бани дал по морде?

– Ну, извини. – Парень пожал плечами. – Я тогда не знал...

– Да ладно, что теперь... – Медведядька поглядел на пепелище. – Видно, мало морду мне мутузили, если я такое допустил.

Подойдя поближе, Простован при свете луны увидел обгорелую во многих местах шкуру медведя. Левая лапа его была «забинтована» какими-то цветами и листьями, помогающими при ожогах – зверобой, подорожник и что-то ещё.

– А кто здесь был? – понуро спросил Подкидыш. Медведядька хрипловато вздохнул.

– Антихрист, – удручённо ответил. – Они ведь Антихриста ждали, вот и дождались.

Накликали.

– Кто он такой? Чего молчишь? Я хочу найти... Да я им, сволочам...

Дядька медведь криво и печально усмехнулся.

– Ишь ты, смелый! Да они тебя раздавят, как комара.

– Ну, это, знаешь... Мы ещё посмотрим... Ты только скажи, какой такой антихрист?

– Какой? – Медведядька неожиданно взбеленился, демонстрируя жуткий оскал. – Да вот такой же, как ты!

Растерянно моргая, парень помолчал, глядя на сторожа.

– Что ты болтаешь, башка два уха?

– А ты? Забыл?... – Медведядька с удивительной резвостью поднялся и одной лапой сгребастал за грудки – рубаха затрещала, теряя пуговку. – Ты забыл, а я-то помню. Ты, Ванька, дураком не прикидывайся.

– Отпусти! Об чём говоришь? Не пойму.

– Об золоте! Об чём... – Медведядька, отпустив его, загоревал, качая обгорелой головой. – Ох, Ванька, Ванька! Ну, зачем ты это сделал?

Парень понуро молчал. С горечью и грустью глядел в ту сторону, куда улетел странный ворон, куда ушла избушка на курьих ножках.

– Зачем, зачем... – Он кулаком саданул по колену. – За тем, что был дурной!

– А теперь? – Медведядька снова зарычал. – Теперь поумнел?

– Да навряд ли...

– Вот в том-то и дело! – Медведядька поднялся, глядя на звёзды. – Босяк ты, Ванька! Недоумок! Ну, почему ты не выбросил тот самородок проклятый? С него как раз и началась вся эта камарилья, вся эта нечисть на курьих ножках...

Нечего было Ивашке сказать. Молча сидел он, голову пеплом сухим посыпал и нашёптывал, как заклятие:

– Босяк и босиз! Босяк и босиз...



Глава восьмая. Босяк и БОСИЗ

1

Жили-были Босяк и Босиз, так можно было бы начать не мудрёную сказку о покорении этого далёкого таёжного угла. И сразу же возникло бы недоумение. Босяк – это понятно. Босяк, как говорится, он и в Африке босяк. А вот кто такой Босиз – или что это такое? – знает далеко не каждый. А это сокращение – аббревиатура. БОСИЗ – это «Большое сибирское золото», которое однажды открыл босяк по имени Ивашка, петухом расшитая рубашка.

Вот ведь как странно бывает; из года в год по горам и долинам ходило-бродило бородатое племя «геолухов», как называли их местные жители. Неумоимо, настырно геологи искали в скалах, в воздухе вынюхивали кварцевые жилы – источники золота. А кроме тех «геолухов» тут были и другие олухи царя небесного – охотники за жёлтым дьяволом. Старатели – рискованные ребята – испокон веков на карачках ползали по ручьям и притокам, копались, как поросята, в грязи, находили золотую крупинку, тряслись над ней и ссорились, бывало, и даже дрались – до поножовщины доходило. А как ты хочешь? Где золото, злато – там зло. Сокровище всегда пьёт из людей кровищу. Ну, так вот. Люди годами старались, вон из кожи лезли, чтобы найти хоть зёрнышко, пылинку золотую. А этот Ваня, чтобы не сказать, Иван-дурак, в один прекрасный день спокойно топал своими таёжными тропами, собирал коренья, шишку, ягоду. А когда притомился, да под берег спустился, – вдруг запнулся об какой-то рыжий камень.

Ивашка к той минуте разулся, шёл босиком, искупаться хотел, и вот когда запнулся – шибко больно стало босяку. Поморщился, под ноги посмотрел – блестит какой-то мокрый каменюка, цветом и формой похожий на рыжего дьявола.

Поднимая камень, парень удивился.

– Ох, ты, дьявол! Тяжёлый-то какой! – пробормотал Подкидыш, собираясь кинуть камень в реку.

И размахнулся он уже, так размахнулся, даже в плечевом суставе хрустнуло – и вдруг почему-то раздумал бросать. Почему? Трудно сказать, но Подкидыш стал ощущать странное какое-то тепло, исходящее от рыжего дьявола, похожего на осколок, поднебесным мастером отколотый от солнца. Золотое тепло, исходящее от самородка, едва уловимо потекло по руке и достало до сердца – странным огоньком лизнуло. Парень засмеялся, догадываясь, какая такая находка подвернулась под руки, а точнее – под ноги.

– Вот теперь, – сказал, обращаясь к деревьям, – теперь заживём!

Он оживился, глядя вокруг, горя желанием хоть с кем-то поделиться внезапной радостью. Но вокруг ни души, если не считать кедровки да мухоловки – пташки порхали поблизости.

С этим жёлтым дьяволом в руках он провёл остаток дня, мечтательно сидя у костра и думая, что он теперь богач, не надо будет по тайге шарашиться, добывая пропитание; можно будет жить, не тужить; теперь-то он действительно – Иван-царевич. Теперь никакого труда не составит пойти, сосватать царевну Златоустку. С этими светлыми думками он и заснул в тайге под звёздами. А поутру пошёл на Золотое Устье, повстречал царевну возле пасеки.

– Я обещал тебя озолотить? – гордо напомнил. – Вот, держи!

Владей!

Перед глазами у девушки засверкал осколок солнца – ослепил, отражая лучи восхода.

– Забери. – Царевна отвернулась. – И уходи. Он рот разинул.

– Как так? Почему?

– Не по сердцу ты мне, Ваня, вот и всё.

– Ничего, переживём, перекуём мечи на калачи! – Он хорохорился, хотя был поражён отказом. – Стерпится – слюбится.

– А зачем терпеть, Ванюша? Я так не хочу. Уходи, а то наши увидят, греха не оберёшься...

И засмурел он, уходя напролом – по чащобам, трясинам, где в другое время ни за что бы ни отважился идти. Просидел всю ночь возле костра, не зная, что делать, как жить. А когда опять достал «осколок солнца» – удивлён был странной переменной. За ночь самородок заметно потемнел, а это – согласно давнишним приметам – говорило о грозящей опасности. Не сказать, чтобы он так уж сильно верил приметам, но всё-таки засомневался:

«Выкинуть? Избавиться?» Однако не решился выбросить такое несметное богатство, которое могло бы осчастливить десятки и даже сотни людей.

На следующий день Подкидыш в родную деревню пришёл – сдал, куда положено солидный самородок, и цветом и формой похожий на рыжего дьявола: две глазные дырки у него и ротовая дырка; уши проступают и рожки да ножки видны.

Представители власти долго хвалили его за проявленную сознательность, а чуть позднее даже какую-то грамотку всучили. Дорогая грамотка была, на белой бумаге с гербами, с печатями, поставленными где-то в Столынограде. Гордился, кичился Подкидыш грамоткой этой, в рамку посадил, на стенку присобачил в своей комнате. И очень жалко, что позднее грамотка пропала – примерно через год, во время очередной побелки, когда все вещи выносили вон.

Долго в деревне кое-кто зубоскалил над ним:

– Потерялась грамотка? Не горюй, Ванюша. Ты ещё найдёшь такой кусок – тебе другую грамотку напишут.

А кто-то прямо в лоб ему лупил угрюмым басом:

– Дурак! Надо было заныкать! На всю жизнь хватило бы и тебе, и детям, и внукам...

– Не-е-е! – Подкидыш морщился. – Греха не оберёшься...

– Не обобрались! Глянь-ка, что творится? Строят, роют.

Открытие БОСИЗа – большого сибирского золота – наделало шороху. Все газеты дружно затрубили о «покорении медвежьего угла». По воде и по суше откуда-то пригнали зубастую технику – землю там и тут начали кусать, копать. Кондовая тайга кругом стояла до небес – шуметь бы ей, цвести бы ей год за годом и век за веком. Но тайгу безжалостно свалили с ног в районе «Большого сибирского золота» – дорогу, посёлок построили. В сердцевине БОСИЗа, там, где был найден рыжий дьявол-самородок, с невероятной быстротой стал разрастаться гигантский карьер, спиралью уходящий в глубину – против часовой стрелки. День за днём всё шире открывались разноцветные пласты породы, напоминающие страницы древней книги, в которой были повествования о былых веках, о пропавших народах и цивилизациях, которые на самом деле никуда не пропадают; прошлая жизнь переходит в другое измерение, в бессмертие.

И чем больше золота находили в районе БОСИЗа, тем больше странностей происходило. Новая техника на руднике ни с того, ни с сего выходила из строя; золотиносная порода пропала куда-то прямо из-под носа у рабочих.

– Нишыстазила! – поговаривали старики в деревне. – Это он...

– А кто это такой? – интересовались мужики из посёлка Босиз.

– Нечистый. Кто же?

– И что ему надо?

– Ясное дело – золото давай. Губа не дура.

Изредка на глаза рабочим стал попадаться какой-то диковинный ворон – огромный, как боров, извалявшийся в чёрном смолье. Прилетая откуда-то, ворон клювом своим взрывал породу, как динамитом – только клочки летели по закоулочкам. Затем деловито, спокойно варнак собирал крупинки золота в специальный кожаный мешочек – рабочие в бинокль видели –

забрасывал мешочек за спину и улетал куда-то за перевалы. На воруягу этого устроили засаду, пристрелить хотели, да не тут-то было – пули от него отскакивали, как от стенки горох. А когда попробовали сетью изловить – варнак будто под землю провалился, а через минуту-другую взлетел над соседней горой и так раскаркался, точно хрипло и жутко расхохотался над работягами.

– Воррагам! – говорили старики-знатоки. – Первый помощник и друг Нишыстазилы!

Золоторудное начальство лишь отмахивалось от этих рассказней, а кое-кто даже открыто посмеивался над старыми «знатоками», из которых песок уже сыпется. Подкидыш тоже не очень-то верил всем этим сказкам. И только сегодня, когда увидел ворона, похожего на борова, – голова загудела: «Да ведь это же он! Воррагам!»

2

Обрывая воспоминания, парень зубами заскорготал. Ну, кто он такой после этого? Самый настоящий Иван-дурак. Прятать, зажиливать «рыжего дьявола», это был бы грех, конечно, – камень тот всю жизнь давил бы душу. А вот закинуть его куда-нибудь в реку или лучше в бездонную пропасть – это надо было. Золото и зло – вот неразлучники, из века в век идущие бок о бок. Сколько уже неприятностей было из-за этого БОСИЗа. И неспроста говорили и даже писали в газетах: БОСИЗ – это не «Большое сибирское золото». Это – «Большое сатанинское зло». Печальный каламбур похож на правду. Что творится в посёлке? Милиция уже замучилась туда выезжать из района. То пьяницу, то вора, то бузотёра приходилось хватать за воротник, к порядку призывать. А то между собою целые бригады передерутся, или хуже того – перережутся. Здешний фельдшер скоро с ума сойдёт с такими «пациентами», которых то и дело надо или самому заштоповать суровой ниткой, или в район тартать на операцию. Но между собою – это ладно, чёрт бы с ними. Так ведь они, собаки, с пьяных глаз идут штурмовать Изумрудку, – из-за девчат дерутся, да и просто так, чтобы доказать, кто тут хозяин. Одна беда, короче говоря, из-за этого проклятого БОСИЗа. А кто виной всему тому? Иван-дурак. Не надо было из тайги вытаскивать «рыжего дьявола». Так нет же, он сознательный, он привык всё по-честному делать.

«По-честному, ага! А что теперь? – Подкидыш поднялся, посмотрел по сторонам. – А где Медведядька?..»

Обгорелый косолапый сторож бывшей заимки успел уже уйти куда-то, покуда парень сидел и вспоминал историю о рыжем дьяволе.

Назад шагал он медленно – точно гору на плечах тащил. Тёмно-синяя тайга казалась обгорелой, обугленной, и горы представлялись гигантскими головешками, достающими до небес, и впечатление это подкреплялось крохотными искорками звёзд, которые пыхом вспыхивали в реках и ручьях, дробились в росах. Какой-то зверь за ним сначала увязался, мягко шагая, прячась за камнями и деревьями, но вскоре полночный зверь отстал, почував что-то неладное – страшная сила исходила от парня. Душа у него клокотала от ярости. Взбуктеть хотелось – подрасться, побиться не на жизнь, а на смерть. Он был готов кого угодно отдубасить, башку свернуть хоть волку, хоть медведю, хоть чёрту рогатому – пускай бы только кто-нибудь встал на пути. И потому, наверное, дорога до Изумрудки была свободна – только тихие тени временами шархались неподалёку, да где-то за рекой, за перевалом волки волнообразно выли на луну, плывущую за пологом чёрно-фиолетовых туч и облаков. И облака и тучи эти сегодня были необыкновенные. Если присмотреться – они напоминали форму огромного ворона, которого старожилы зовут Воррагам.

Спотыкаясь в темноте, парень вышел к родной деревне. Густая ночь – глазами не проломишь – навалилась на крыши, на улицы; последние искорки звёзд пропадали под воронными

крыльями туч и облаков. А тут ещё туманы стали охмурять, такие вдруг туманы замесила нечистая сила – Подкидыш перепутал тропинки и вышел не куда-нибудь, а прямо к дому Незабудки. Лбом едва не треснулся в ворота. И что уж совсем удивительно – ему вдруг показалось, что там, за воротами, стояла Незабудка, ждала, караулила. Это, конечно, могло показаться, но Подкидыш почему-то был уверен, что так оно и в самом деле – услышал за воротами возню какую-то. Рассердившись, он едва не плюнул на эти разнесчастные ворота. «Вот привязалась! – Он повернул к своей избе, ощущая под сердцем иголку тревоги. – Цветок на пепелище и вот эта Незабудка Пепелищева – нет ли тут чего-то общего?»

3

В доме, куда он вошёл на цыпочках, все давно спали. Дед Илья на печке похрапывал, как былинный Илья Муромец, – даже сверчок испуганно смолкал где-то в углу и скромно пиликал только в коротких перерывах между богатырскими руладами. Но если вся родня, упластавшись до полусмерти, спала без задних ног, то дед Илья, за весь день отлежав бока, спал довольно чутко.

Приподнимаясь, дед-лежебока зевнул и поцарапал сено своей бороды. Глаза заблестели во мраке.

– Ванька, – шепотом спросил, – ну, што, протопил?

– Кого? – Парень тоже стал шептать. Дед приглушённо кашлянул в кулак.

– Ну, дак ты же баню истопить хотел.

– Да какая, к чёрту, баня! – Грубея голосом, Подкидыш отмахнулся. – Там вообще ничего не осталось.

Бестолково посмотрев на него, лежебока попросил:

– Дай-ка попить. Кха-кха. Першит от курева. Парень подал кружку воды и вдруг спросил:

– А самогонки нету? Дед едва не поперхнулся.

– Ты што? Сдурел?

Помолчав, Простован шепнул сердито:

– Ну, так есть или нет?

Помедлив, дед нехотя ответил:

– Есть маленько. В подполе.

– Я достану. Ты будешь?

Вытирая губы рукавом, дед пробормотал:

– Батька проснётся, он тебе достанет...

– Это ещё неизвестно, кто кого достанет! – сердито просипел Ивашка, вспоминая про уголек, который поднял на пепелище. – Ты посмотри, что я нашёл у Золотого Устья. – Пошарив по карманам, парень замер, округляя глаза. – Посеял где-то... Ёлки! Вот растяпа! Теперь ничего никому не докажешь!

Лежебока не понял, о чём это внук трындычит. Покосился на тёмную прорубь окна.

– Стало быть, уехала? Царевна-то?

– Может, уехала... Может, сгорела живьём. Дед пустую кружку чуть не выронил.

– Ты чо болтаешь? Как это – живьём?

– Угли там, вот как.

– Ох, мать твою!.. Прости ты меня, господи! – Дед перекрестился на сверкающий оклад иконы, стоящей в красном углу. – Это кто же разбой учинил?

– Я откуда знаю?.. Узнаю, так убью.

– Ну и дурак. Пойдёшь на каторгу.

– А мне теперь, дед, всё равно, хоть на каторгу, хоть куда... Косматая, седая голова дремучего старца придвинулась ближе.

– Я, Ванька, тоже так думал, когда по уши втюрился, а девка-то моя возьми да замуж выскочи за вахлака из соседней деревни. До сих пор не знаю, что она такого в нём нашла. А вот нашла, однако, то, что бабы ночью под одеялом ищут. – Дед сдавленно хихикнул, но тут же и вздохнул. – Ох, горевал я тогда, самогонку хлестал...

– Ну, вот! Сам хлестал, а мне так не даёшь?

– Да я-то что? Бери. Тока самогонка не помощница.

– А кто? Кто помощница? Дед почесал под мышкой.

– Клин клином вышибают. Другую девку надобно искать.

– Ты что?! – Глаза Подкидыша возмущённо сверкнули. – Никто другой и даром мне не нужен!

– И я так думал, паря, и я так говорил. А через полгода бабку встретил, царство ей небесное. Она тогда, конечно, была совсем не бабка. Молодая была, всё при ней. И когда я увидел всё то, что при ней, так и забыл своё горе. Такие вот дела, Иван-царевич. Так что не горюй. Всё перемелется – будет мука.

Ненадолго задумавшись, внук сказал упрямо:

– Это у тебя так было. А у меня всё будет по-другому. Почёсывая бороду, дед Мурава философски заметил:

– Всё уже было, паря, и вряд ли новое произойдёт. Почитай вон святое писание, там про это хорошо обсказано в этом самом, в Екклесиасте.

Посмотрев на Библию, находящуюся на печи рядом с дедом, Ивашка руку равнодушно протянул:

– Ну, давай, полистаю.

Коричневато-красная Библия – увесистая и тёплая – показалась кирпичом, который вынули из тела русской печки.

4

Уютный, тихий закуток озарился тремя свечами и только тут – при слабом свете напротив зеркала – Подкидыш заметил перемены, произошедшие с ним за эти несколько часов печали и безутешного горя. Будто серым пеплом присыпанные волосы возле висков отсвечивали странным серебрецом. Вертикально вздувшаяся вена перечеркнула широкий и высокий лоб. Усишки обвисли, будто намокшие. Рот плотно сжался – желваки проступили на скулах, кое-где побитых щедринами.

«Краше в гроб кладут! – Он отвернулся от зеркала. – Что-то я расквасился. Но ничего! Переживём, перекуём мечи на калачи!» Подсев поближе к свету, он стал читать потрёпанную Библию, во многих местах подчёркнутую грубым дедовским ногтем, похожим на тупое лезвие ножа.

«Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что хорош; и отделил Бог свет от тьмы...»

Подкидыш зевнул. Библия показалась откровенно скучной; безалаберный парень, он тогда ещё не знал, что такие книги читаются не глазами, а сердцем. Закрыв потрёпанную Библию, он задумался, глядя на багрово-синий лепесток свечи: «Интересно, как это Бог свет отделил от темени? Да побасёнки это!» Глядя на чёрный фитиль, поедаемый пламенем, Ивашка вспомнил чёрную горелую заимку на поляне; вспомнил царские кудри – сказочные цветы, которые будто бы выросли на месте волоска, упавшего с головы ненаглядной царевны. «А это разве не побасёнки? Эти кудри... – Парень засомневался. – А разве могут вырасти, к примеру, кукушкины слёзы – цветы – возле того дерева, где куковала-плакала кукушка?»

Он осторожно достал из короба царские кудри – глубоко вдохнул цветочный аромат и с трудом сдержался, чтобы не заплакать; сердце больно дёрнулось, точно загораясь от любви, от нежности, от горя и отчаянья. «Где теперь искать? Да и найдёшь ли? – бились-колотились мысли в голове. – Всё сторело! Всё прахом пошло! Утоплюсь!.. Напыюсь!..»

И опять он попытался Библию читать – и опять захлопнул. Причём захлопнул с такою силой, что потоком воздуха от книги пламя над свечою повалило набок. Огонёк затрепетал, норовя подняться – и погас. И тогда Подкидыш с каким-то странным удовольствием задул две другие свечи – и в комнату ввалилась темнота вперемежку с гробовою тишиной. И чёрный-чёрный крест вознёсся в головах – оконная рама. «Вот умру я, умру, похоронят меня...» – закрутился унылый мотив.

Он прилег на постель, руки сделал замком на груди – как покойник. Сердце гулко билось где-то под руками, а он – угрюмо и озлобленно – приказывал ему не биться. И удары становились реже, реже. И стало вдруг не по себе, аж морозец по хребту царапнул. Не в силах лежать в этой тёмной и страшной «могиле», он торопливо пошёл во двор, ногу больно ушиб о железную какую-то фиговину – батя вечно таскает с кузни, бросает, где попало.

«А может, надо мне туда вернуться? – Пламя в горне вспомнилось, перезвоны молотков и шумное дыхание кожаных мехов. – Хорошо там было. Зачем забросил? Зачем с суконным рылом полез в калашный ряд?..»

На дворе было свежо, пряно пахло травами, цветами в палисаднике; черёмуха в белом стояла – заневестилась на бугорке; река за огородами журчала жаворонками; умиротворённо спали соседние избы, амбары. И от сознания того, что всё кругом так славно и так приятно – ещё хуже становилось, горше. Лучше бы камни кубарем падали с небес, лучше бы молния кромсала темноту, сжигала бы высокие деревья – всё как-то легче было бы...

Парень устыдился этих мыслей.

«О, господи, прости, ну что за глупость? – Он посмотрел на небо. – Переживём как-нибудь! Перекуём мечи на калачи!»

Не зная, что делать, куда себя деть, он бесцельно покружился по двору и неожиданно упёрся лбом в чёрную бревенчатую стену сарая, за которой впросонках захрюкала и завозилась жирная свинья. Тоскливое отчаянье охватило душу; вот как надо жить, любить свою кормушку, чавкать день и ночь, и никогда, никогда не смотреть в небеса, не соблазняться мечтами, стихами. С каждой минутой слабея – не столько телом, сколько духом – Подкидыш на берег ушёл, сел на перевёрнутую лодку и застонал, обеими руками охватывая голову. Слезы, падая на лодку, тускло мерцали под звёздами и сами порою казались звёздочками, крохотно дрожащими в глубинах мироздания...

5

Глухотемень была ужасная. И в этой глухотемени будто кто-то пластинку завёл по-над ухом: «Вот умру я, умру, похоронят меня...» Тоска тискалами сдавила сердце. Леса, поля и горы, и долины – всё кругом опустело, осиротело без царевны Златоустки. И птицы разучились петь, и вода в ручьях и река разучилась бежать. И в небесах как будто чёрная дыра, кровоточащая холодной кровушкой рассвета. И в сердце тоже сквозная рана стонет, ноет и непонятно как, и неизвестно чем заполнить можно эту пустоту, дыру вселенскую – огромное кольцо, которому ни края, ни конца.

Парень вздрогнул, вспомнил два золотистых кольца, связанных стальной паутиной. Вернулся в дом, в котором было пусто – работники рано вставали и расходились. «А где же кольца? – Он в недоумении осмотрел свой закуток. – Что за чертовщина? Вот здесь висели. Странно! Может, мамка подцепляла колечки, а потом забрала? Только зачем ей это?» Он

вспомнил, как в детстве ячмень сводили с глаза колдовством золотого кольца. Мать говорила, нужно десять раз золотым обручальным кольцом провести по ячменю.

Встающее солнце уронило уголёк на половицы – первый луч в окошко прострелил. И вспомнился волшебный уголёк, который найден был на пепелище. Как тот уголёк попал на Золотое Устье? Кто, если не батя, владеет целой россыпью таких угольков?

А если ещё вспомнить, что он тишком, тайком работает на сатану, курные лапы куёт для избушки.

Скулы Подкидыша затвердели. Он пошёл на кузню. Надо было срочно поговорить с отцом – это во-первых, а во-вторых, как хорошо бы сейчас поработать на кузне. У горячего горна, бывало, всякая грусть пропадала, разбитая молотом, все дурные мысли улетучивались.

Берёзовый лесок, стоящий на пути, был переполнен соловьиными звонами – долетали из кузницы. Рабочий и одновременно праздничный звон-трезвон порождал многократное эхо, в березняке игравшее десятками и сотнями молотков с молоточками.

«Кузнецарь! – уважительно говорили в деревне. – Кузнецарство наше звонит в колокола!»

Остановившись на пригорке, с которого кузница видна, Подкидыш догадался по железным голосам и подголоскам: кузнецарство звонило в четыре руки. И вскоре он убедился в этом, когда остановился на пороге. И завидно стало, и обидно; так всегда бывает с человеком, когда он возгордится и возомнит себя незаменимым, а там, глядь-поглядь, тебе нашлась замена, да нашлась так быстро, что даже зло берёт. Вот так и получилось, когда Подкидыш дверью хлопнул, ушёл из кузницы. Великогроз Горнилыч, недолго думая, нашёл себе отменного молотобойца – молодого, плечистого, с волосатыми и длинными руками, с чёрными глазами, искрящимися как уголья, вынутые из горна. Огненно-рыжая, густая борода молотобойца тоже была точно из пламени горна добытая. Молотобоец этот, Фрол, бывший охотник, охромел где-то в горах, в тайге, ходок стал никудышный, а вокруг наковальни топтался – точно вокруг милой барышни под звонкую музыку пляски.

Горя глазами и пылая рыжей бородой, Фрол азартно помогал месить на наковальне красно-малиновый кусок бесформенного, железного теста. И сразу было видно – сработались они, окаянные, с полуслова, с полувзгляда понимали друг друга. Звоны с перезвонами по кузнице порхали и кружились – только огненные брызги сыпом сыпались по сторонам. Это была не работа – это мужики священнодействовали.

Молотобоец, мельком заметив Подкидыша, в знак приветствия тряхнул своим «бородатым огнём» и крепкие зубы оскалил, изображая зверскую улыбку шибко занятого человека. А Великогроз Горнилыч, тот вообще сделал вид, что не замечает «постороннего».

Раскрасневшийся вдохновенный кузнец был в эти минуты величав, прекрасен: ремешком перетянутый лоб; рукава закатаны по локоть; длинный, словно жестяной, рабочий фартук.

Готовая поковка – продолговатая, малиново-сизая, похожая на хариуса – нырнула в деревянную бадью; вода запузырилась, зашипела. Теперь можно было и перекурить, но Великогроз Горнилыч грозно что-то крикнул и звероподобный молотобоец на полусогнутых побежал за новой заготовкой.

– Батя! – начал Ивашка. – Здесь паутина была, мною откованная...

– Посторонись! – рявкнул отец, поворачиваясь к нему широкою, как дверь, спиной, мокрой от пота.

Парень понуро стоял в стороне, как оплётанный. А эти двое – мастер с подмастерьем – опять они звенели и гремели молотками и молоточками, азартно и слаженно перезванивались, и ни конца, ни края не предвиделось этому буйному перезвону. «Батяка теперь закусил удила, – понял парень, – нарочно будет колотить, куда не уйду...»

– Ты угольки свои... – прокричал на ухо кузнецу, – угольки давал кому-нибудь?

Отец отчаянно сверкнул глазами.

– Черту давал! Прикурить!

– Я серьёзно спрашиваю, тятя...

– Иди! – снова рявкнул отец, по-волчьи оголяя зубы. – Полетай на коврах-самолётах!

Подкидыш понуро поплёлся домой, но оказался почему-то километрах в десяти от дома – в посёлке Босиз. Он потом вспоминал, только вспомнить не мог, когда и где, и с кем хватанул первую рюмку огненного зелья. «Если бог кому не дал ума, тому уже кузнец не прикуёт!» – думал он после, жестоко страдая с похмелья и вознамериваясь утопиться, но это потом, а сначала было, ой, как весело.

Глава девятая. Душа болит, а сердце плачет

1

Зеленоватый старинный штоф начал разрастаться перед глазами – глыба льда увеличилась до размеров стеклянной горы. И вдруг оттуда выпрыгнул Змей Горыныч, извергая пламя из поганой пасти. Подкидыш сначала растерялся, а затем шарахнул кулаком по столу, призывая к порядку. И Змей Горыныч, как ни странно, послушался. Он прикинулся невинным Зелёным Змием – беззаботный эдакий рубаха-парень. Роба у парня была бледно-зелёная и только нос, похожий на фигу, красновато-сизый. Руки мелко подрагивали. Брючата и пиджак пошиты из разных винно-водочных этикеток большого размера, местами изрядно потёртых. Блестящие пуговицы на пиджаке – металлические пробки от бутылок.

– Ванюша! Дорогой мой! – затараторил рубаха-парень, разливая по стаканам и по полу. – Как я рад нашей встрече! Давай, брат, для начала сделаем опрокидонт. Что это такое? Не знаешь? Русская старинная забава. Хе-хе... Опрокидонт – рюмка водочки, которую мы сейчас опрокинем в душу мать. Хэ-хэ. Сначала осторгамимся, потом остаканимся, а следом за тем ографинимся.

Трескотня эта Ивашке не понравилась.

– Балабол! Ты кто такой?

– Тебе показать винный паспорт? Или ты мне на слово поверишь? – Нагловатый тип запанибрата хлопнул Простована по плечу, а затем протянул пятерню, дрожащую, хилую, потную. – Я – Зеленозмийцев. Звать меня Зерра. Или просто – Зеро. Ну, давай за знакомство.

Подкидыш тогда ещё не знал, что Зеро – это просто «ноль», пустое место. Тогда показалось: Зеро или Зерра – так романтично, так загадочно звучит. Зеро представился ему приятным парнем, красноречивым, умным собеседником, ну, то бишь, собутыльником.

– Теперь ты – мужик! Настоящий мужик! – Зерра обнимал его, поздравлял с почином. – Бабам – квас. А мужикам – давай покрепче. Мы же не какие-то квасные патриоты, верно? Давай, брат, за тебя! За бескорыстную дружбу мужскую! Теперь я всегда буду рядом. Как только горе у тебя, или какая радость – ты только гикни-свисти, я мигом появлюсь.

– Спасибо, я уж как-нибудь один, – отказался парень, – переживу, перекую мечи на калачи.

– Одному – хреново. Одному – беда, – елейным голосочком стал убеждать собутыльник. – Один, как говорится, и возле каши загибнул. А на миру, как говорится, и смерть красна. Так наш народ говорит. А народ – ого! Народ наш – Златоуст. Я с ним, с народом-то, люблю посидеть за столом, побеседовать. А ты ведь парень из народа. Так? Значит, тебе, Иван Великоросыч, самая прямая дорога в златоусты! Читал твои перлы, читал.

– Да какие там перлы? Правильно дед говорит: только перловую кашу сварить. В Стольнограде так накостыляли...

– А кто там? – Зерра подлил в стакан. – Тот, который бреет уши? Или кто? Да что они, паскуды, понимают? Они от зависти... Да я их знаю, Ваня, знаю, как облупленных. Я же с ними пил сто раз, чуть язву, бляха-муха, не заработал. Из этих бездарей, между нами говоря, не получилось ни поэтов, ни прозаиков, вот они и сели в кресла критиков, да в кресла литконсулов. Там же одни сплошные неудачники сидят, и срок у них пожизненный, вот что печально.

Зеленозмийцев ни на секунду не замолкал, и вскоре это пустословие стало докучать; парню хотелось побыть одному, погрузиться-подумать о своей царевне, о жизни вообще.

– Тебе какого, Зерра... – раздражился парень. – Заткнись!

– Запросто! – Зеленозмийцев вынул из кармана пробку от вина – рот себе заткнул.

Изумлённо глядя на него, парень расхохотался.

– Молодец! Я рад, что мы друг друга понимаем!

– Да как же не понять? – вынимая пробку изо рта, опять затараторил собутыльник. – Да мы же с тобою, можно сказать, братья по крови! Нет, я не хочу сказать, что у тебя вино в крови или водка, или самогон... Нет, нет! Я в том смысле, что... давай-ка сделаем опрокидонт...

Всё больше мрачняя от болтовни, Простован кулаком по столу припечатал.

– А не пошёл бы ты?..

И опять Зеленозмийцев не только не обиделся – подпрыгнул от восторга.

– Правильно! Я пошёл за вторым пузырьём!

– Не надо, хватит.

– Да где же хватит, брат мой? Да ты уж мне поверь! Мы же русские люди! Нам одного пузыря никогда не хватает для полного счастья!

– Ты хочешь сказать, – Подкидыш пощёлкал грязным ногтем по стакану, – счастье в этом?

– По поводу счастья сказать не могу, – чистосердечно ответил Зерра, – а вот по поводу истины Плиний Старший мне говорил: *In vino veritas* – истина в вине.

Ошарашенный загадочной латынью, парень прошептал:

– Линий Страшный? А кто это?

Собутыльник сурово посмотрел на него, икнул и папироску вытащил из-за уха, где её вроде бы не было. Прикурив, Зерра на минуту пропал за облаками вонючего дыма.

– Был такой древнеримский учёный – Плиний Старший, – заговорило вонючее облако. – Двадцать четвёртый – семьдесят девятый годы нашей эры. Я любил с ним выпить, потрындеть. А иногда мы даже пели. Слушай, Ваня! А ты ведь здорово играешь, говорят, искры высекаешь из балалаечки...

От похвалы Ивашка подтаял – нетрезвую улыбку растянул от уха и до уха.

– А где инструмент? У тебя же тут одни сверчки за печкой.

– Почему? Ты с балалайкой пришёл. Вот, держи.

– И правда... – Простован изумился, глядя на старую отцовскую балалайку, лежащую на лавке. – А какую мы споём? «Мне море по колено, и облака по грудь» Эту, что ли?

– А давай, какую хош...

Прикрывая глаза, балалаечник стал пощипывать струны – звонкий, мягкий звук поплыл по комнате. Зеленозмийцев, блаженно жмурясь, склонился над столом и неожиданно грянул:

Душа болит, а сердце плачет,
А тот, кто любит, слезу не прячет...

Отбросив балалайку на кровать, Подкидыш не сдержался, – заплакал, опуская буйную головушку на грудь Зелёного Змия, который по-отечески обнял его и приласкал, в глубине души довольный тем, что Иван-царевич всё больше и больше становился похожим на обыкновенного Ивана-дурака. Эти пьяные слёзы очистили душу, облегчили. И пришло великое веселье. Не пришло, а прилетело – в буквальном смысле.

2

В русской печи что-то приглушённо стрельнуло – чёрный дым клубками повалил, и неожиданно из этого дыма образовалась фигура большого чёрного ворона. Отряхнувшись от лохмотьев сажи, варначина вышел на середину комнаты, трижды каркнул и легко перекувыркнулся под потолком – и превратился в какого-то странного типа в белом, блистательном фраке. На голове у него красовалась складная шляпа-цилиндр под названием шапокляк. На длин-

ном носу, похожем на клюв, крепко сидели чёрные очки в золотой оправе. В правой руке – с небрежной элегантностью – пропеллером вращалась белая тонкая тросточка в виде метлы, сверху которой был присобачен тёмный гранёный набалдашник – алмаз тёмной воды. Левая рука, сверкающая перстнем, трёхпалая крупная лапа человека-ворона,

– Позвольте представиться! – приподнимая белый цилиндр, прокаркал гость. – Воррагам!

– А по рогам? – Подкидыш стал рукава засучивать. Незванный гость, не дожидаясь приглашения, сел за стол, закинул ногу на ногу.

– Драться? Нет, зачем? У меня задача несколько иная.

Присматриваясь, Ивашка не сразу, но всё-таки вспомнил, где он видел варнака вот такого, нахально сидевшего нога на ногу.

– Так это ты? Зачем за мною давеча летел? Когда я шёл на Золотое Устье...

Поигрывая тросточкой, Воррагам усмехнулся.

– Я тебя сопровождал. Оберегал, чтобы волки не тронули, и вообще... Может, я твой ангел-хранитель, а ты на меня бочку катишь.

– Боже упаси! – Подкидыш стал пальцы складывать щепотью и руку медленно приподнимать.

Бледнея, Воррагам подскочил, едва не уронив складной цилиндр.

– Только не вздумай креститься.

– Ага! – Простован злорадно хохотнул. – Сдрейфил, дядя?

Ну, так и сиди, не мыркой, а то возьму да перекрещусь!

Воррагам, будто что-то вспомнив, неожиданно успокоился и опять, как барин, сел – закинул ногу на ногу.

– Не перекрестишься. Нет.

– Это почему же я не перекрещусь?

– А потому что гром ещё не грянул. Так в народе говорят. А народ у нас кто? Златоуст! – И Воррагам, изображая из себя профессора на кафедре, с важным видом чёрные очки поправил на остроклювом носу. – Ну, что, Иван-царевич, не надоело самогонку лакать? Может, пора на пленер собираться? На чистый воздух. Культурную программу пора осуществлять. Как думаешь?

Послушав незваного гостя, Подкидыш заинтересовался культурной программой, в которой принимали участие многие сказочные персонажи: и Спящая Царевна, и Царевна-Несмеяна, и Царевна-Лебедь и какой-то рыцарь-лебедь Лоэнгрин...

– А царевна Златоустка? Золотаюшка моя? Есть? Не врешь? Ну, гляди, Воррагам, а то дам по рогам! – Глаза у парня возбуждённо заблестели. – погоди, только маленько приоденусь... Только я не знаю, где мой гарде... гроб... И что это за хата? Где я есть?

– Какая разница! – Воррагам со скрипом открыл какой-то древний «гардегроб» и протянул расписную русскую рубаху – домотканую, льняную, чистую, приятно облегающую тело. Новые лапти, ещё не разношенные, маленько давили, но Воррагам сказал, что лапти разойдутся во время пляски.

Они за стол присели, тяпнули по стопке на посошок и заторопились куда-то по огороду в сторону реки. (Ивашка балалайку с собой прихватил). Остановившись на поляне за деревьями, Воррагам положил на пригорок пустую бутылку – специально взял со стола.

– Пропеллер есть, – поигрывая тросточкой, воскликнул. – А вертолёт найдётся!

3

И началась такая чертовщина, от которой у Подкидыша в мозгах помутилось. Пустая бутылка – фантастически быстро! – начала разрастаться до размеров стеклянной кабины, куда они вошли через минуту, сели и даже пристегнулись какими-то ремнями безопасности. Ворра-

гам уверенно угнездился на переднем сидении – место пилота. А пьяный пассажир плюхнулся на заднее. В кабине было тихо – где-то муха прожужжала. И вдруг Ивашка явственно услышал, как звонко засвистел-завертелся пропеллер в руках Воррагама – тонкая тросточка, с нижнего краю похожая на метлу. Тёмный набалдашник – алмаз тёмной воды – зловеще засверкал, фонтанируя искрами. И Воррагам неожиданно громко прокаркал: «От винта, собаки! От винта!» И от стеклянной кабины фантастического вертолёта испуганно отпрянули две бездомных собаки, до сей минуты беспечно дремавшие в лопухах. А пропеллер в руках Воррагама продолжал наращивать сумасшедшую скорость. Чёрно-серебристый винт, рисуя в воздухе широкий и правильный круг, стремительно посвистывая, поднял над поляной пыльную бурю, – это был «чёртов столб» или «чёртова свадьба», как говорят в народе. Этот вихорь подхватил стеклянную кабину, раза три перевернул кверху тормашками и понёс куда-то в облака. И перед глазами пассажира замелькали река, дома и горы – всё пересыпалось, как в детском калейдоскопе. И страшно, и весело было Ивашке. И Воррагам хохотал, поворачиваясь к нему.

– Ну, как? Полёт нормальный? Это, конечно, не Ту-134, но ничего, с пивком пойдёт...

– Ничего, ага, только трясёт!

– Это с похмелья. Абстинентный синдром.

– Аэродром? А где аэродром? Я не вижу...

– Турбулентность! – снова загнул Воррагам какое-то странное слово. – Воздушные ямы.

Всё никак их не заровняют. И мне всё некогда. Хэ-хэ. Это мы ещё с Демоном, помню, летали над грешной Землёй и спотыкались вот на этих колдоббинах...

– С кем летали? С Димкой? А кто это?

– Демон. Старший брат мой. Я как-нибудь расскажу про него, а теперь не надо отвлекать, а то ещё на... навернётся. Мне-то ничего, я же бессмертный, а ты, Иван, пока ещё простой...

Потоки ветра свистели за стеклянной кабиной, да и уши заложило с непривычки – парень плохо слышал Воррагама. И почти не видел ничего вокруг – фантастическая посуда залетела в грозную облачность. Пассажир закрыл глаза и прикинул минут пятьсот на каждый глаз, как шутил он позднее, стараясь припомнить, где они летели, как летели: высоко ли, низко, далеко ли, близко? Проснулся Подкидыш, когда они благополучно приземлились в каком-то тёмном тридевятом царстве.

Собираясь поинтересоваться, куда прилетели, Подкидыш так и застыл с раззявленным ртом.

Вечерняя земля неподалёку затрещала по швам и стала разверзаться – куски чернозёма, трава и цветы, кусты и деревья полетели в разные стороны. И перед Ивашкой вдруг возникла избушка на курьих ножках. В низеньком кривом окне горела керосиновая лампа, золотистым клином освещая старое крыльцо. Внутри гремела музыка, от которой дрожали ставни и дребезжала жестяная труба. Избушка медленно пошла в сторону Подкидыша. Остановилась. Громобойная музыка смолкла внутри. Свет в окошке погас. Затем кривая дверь со скрипом раззявилась – и на пороге показался здоровенный молодец, похожий на стрельца, держащего в руках секиру, сверкающую во мгле.

– Иван-дурак? – сурово уточнил он, глядя на парня в расписной косоворотке.

– Не дурнее тебя, – огрызнулся Подкидыш.

– Извини! – Стрелец руку к сердцу прижал. – Не хотел обидеть. Я в том смысле, что ты – это ты? Ну, тогда всё пучком. Всё путём. Заходи, там ждут.

– Подождут! – Подкидыш задержался возле могучей куриной ноги, сверкающей пудовыми железными когтями; ему захотелось понять, кто эту лапу ковал? Только рассматривать некогда было – придворные холопы вышли на крыльцо и очень вежливо, но всё-таки настойчиво попросили поторопиться.



Глава десятая. Дворец в избушке

1

Далеко шагнула матушка-наука, широко размахнулся папаша-прогресс. Взять хотя вот эту избушку на курьих ножках. Снаружи это была вполне хрестоматийная хатёнка – живая иллюстрация к народным русским сказкам – дряхлая, кривая, побитая градом, покрытая плесенью, мхом. Зато внутри избушки – такое диво дивное, которое не всякий учёный объяснит. Внутри избушки находился – хочешь, верь, хочешь, не верь! – довольно просторный дворец, чёрт его знает, каким таким образом поместившийся там. Дворец этот был – сатанилище, построенное в стиле «вампир». Червонным золотом украшенные стены сатанилища точно облиты невысохшей кровью. Узоры, серебром сверкающие там и сям, казались жутковатыми оскалами зверья. А кроме этой страховитой старины – куча всякой современной техники. Рядом с печатной машинкой «Московия» стоял какой-то «Микроскоп» или «Микрософт» – компьютер, которого Подкидыш в глаза ещё не видывал. А в стороне, на возвышении, – как на пьедестале – космическими сплавами сверкала суперсовременная ступа с электронным управлением, с вертикальным взлётом и посадкой. А над головой был не потолок, а словно бы развернутое небо – таинственным светом мерцали созвездия, медленно кружились какие-то планеты, яичным желтком полыхало далёкое солнце, то ли настоящее, то ли искусственное.

От изумления физиономия парня по-лошадиному вытянулось. Разинув рот и приглушённо ахнув, он разглядывал убранство волшебного дворца. Белопенный фонтан здесь не шипел, не шелестел, как это обычно бывает с фонтанами – он песню протяжную пел, фонтанируя не водой, а белопенным птичьим молоком. Слева на цепях виднелся гроб со Спящею Царевной или что-то наподобие того. Справа зеркалом блестело озерко, в котором величаво плавала Царевна-лебедь. А дальше – не к ночи помянуто будет – чёрная плаха с белозубым топором, воткнутому в чурку. Жар-птица в клетке на окне золотыми перьями горела, бросая блики на потолок и стены.

Хозяин этого дворца – Нишыстазила, как потом узнал Подкидыш, только его пока тут не было. Хозяйка – Царь-Баба-Яга или просто Ягодка-Яга – в эту ночь решила погулять. Баба эта страсть как любила молодых Иванов-дураков, вот почему она и приказала Воррагаму слетать, куда надо и во что бы то ни стало раздобыть молодого жеребчика. Но всё это Подкидыш узнал позднее, а тогда, когда переступил порог – глаза чуть не лопнули от изумления. Однако, смотреть было некогда, его позвали не на экскурсию.

Воррагам своей трёхпалой лапой сзади в спину подтолкнул.

– Кланяйся, дурак!

– С какого перепугу я должен кланяться? – возмутился Подкидыш. – Убери свою лапу! А то вместо трёх вонючих пальцев – ни одного не останется!

Хорошая акустика была в этом огромном сатанилище. Царь-Баба-Яга, восседавшая на троне, хохотнула и золотой кочергою саданула об пол.

– Ай, шельмец! Ай, молодец! – похвалила Ягодка-Яга. – Мне говорили, что ты шибко гордый. Это хорошо. Мне это любо.

– Что толку гордыбачиться? – самокритично сказал Ивашка. – От гордости одни убытки!

– Ну, так смирись. Чего ж ты? – Царица показала клюкой куда-то в сторону. – Вот, бери пример с Ардолионского, смирился и в гору пошёл.

– Ардолион? Который бреет уши? – Подкидыш хохотнул, поправляя усики. – Премного благодарен, но я так не могу. Я даже усы уже не брею.

И снова Царь-Баба-Яга засмеялась – занавески заколыхались над тронном. Этот Ивашка всё больше нравился ей. Царица Яга пригласила его на ковёр – богатый, мягкий. Робея, он подошёл к большому роскошному трону, обшитому пурпурным бархатом. Издалека царица Яга представлялась пригожей, а вблизи – не дай бог, какая страхолюдина.

– Мне сказали, Ваня, что у тебя талант.

– Да ну, какой там. Брешут.

Брильянтами обсыпанная рука царицы заблестела в воздухе – указательный палец, коряво согнутый, смахнул весёлую слёзку, пробежавшую по дряблой щеке.

– Что скажешь, Гена? – Ягодка-Яга посмотрела на какого-то косматого чёрта, стоящего по правую руку – это был придворный гений.

– Скромничает, Ваше Величество, – пролепетал косматый. – Дураком прикидывается.

Переступая с ноги на ногу, Подкидыш посмотрел на балалайку и зачем-то спрятал её за спину.

– Я в Стольном Граде недавно хотел прикинуться умным, да только где там! Мне показали такую кузькину мать, какую даже сам Кузька не видел...

Запрокинув голову – корона едва не упала – Царь-Баба-Яга расхохоталась.

– Гена, ты, что ль, ему показал? Или это наш Ардолиоха отличился?

Подкидыш пригляделся к лохматому чёрту, придворному гению, и распознал в нём того человека, который сидел в кабинете Стольнограда, жрал капусту, козёл, и читал нотации, как писать стихи. Мало того, чем больше Ивашка присматривался к Царь-Бабе-Яге, тем сильнее укреплялся в мысли, что эту бабку он тоже видел где-то в Стольнограде. Он, может быть, и вспомнил бы, где видел, да только некогда...

– Ванятка! – ворковала Ягодка-Яга. – А не хочешь ли ты служить у меня при дворе? Как Пушкин служил при царе. Ты сейчас не говори. Ты хорошенько подумай. Время есть. – Яга засмеялась. – Я хочу сказать, что время кушать.

Царь-Баба опять шарахнула золотою кочергой об пол. И тут случилось невероятное.

2

Внутренние стены сатанилица то ли раздвинулись, то ли вовсе испарились в воздухе и повсюду появились широкие дубовые столы, до краёв заставленные стеклянным частоколом – бутылки с водкой, вином, коньяком, ромом, самогоном, бражкой, стеклорезом и даже бензином; тут пили всё, что горело. Столы были завалены арбузами, бананами, вишнями. Свежий виноград казался только что сорванным, хранящим на себе дрожащую росу и нежнейшую дымку. Разрезанные дыни дышали ароматом юга, сочились медово-шафрановым соком. А персик был похож на поцелуй персиянки – таял на губах и голову кружил. И со всех сторон откуда-то гости, гости, гости привалили. Поднялся гомон, смех. Придворный шут плясал на голове. Жонглёры чудеса с горящими поленьями творили – факелы ходили то кругами, то какими-то кошмарными квадратами, взлетающими под потолок. Задорно зазвенели переполненные рюмки, бокалы и стаканы. Восторженные голоса послышались.

Как зачарованный, Ивашка ходил кругом столов, озирался на заморскую еду. Облизывался. Широкие столы, поставленные буквой «зю», были сервированы хрустальными вазонами, имевшими форму человеческих черепов. Бокалы и рюмки имели форму ступы бабушки-яги. Стеклянными сосульками, непонятно как державшимися в воздухе, над столами нависала батарея всевозможных водок, вин, коньяков. Сосульки были вроде бы закрыты, но стоило к ним поднести посудину – питьё наливалось до края. А среди закусок невозможно отыскать ничего простого – сплошная экзотика, мечта гурмана и мечта обжоры. Но больше всего почему-то здесь было райского лотоса – это Ивашка узнал, когда спросил Воррагама.

– Эх, ты! Дерёвня! – отвечал варнак. – Эту штуку лотофаги нам поставляют. Райская вкуснятина. Попробуй. А вот это, гля. Это страусиная печень со свиной и вином.

– А вороновой нету?

– Ну и шуточки, – Воррагам сдержался, чтобы не сказать кое-что обидное. – А вот это, гля. Американский омар. А это вообще редчайший деликатес – икорочка морского ежа. Мировая закуска. Попробуй. Только много не пей, тебе ещё играть на балабайке...

– А я чем больше выпью, тем лучше сбацию. Мне тогда и море по колено, и облака по грудь.

После первой гранёной ступы – рюмка в триста грамм – Подкидыш повеселел, осмелел; эта гранёная ступа словно душу ему огранила – алмазная душа его заблестела как благородный бриллиант. И снова рядом оказался друг, товарищ и брат – Зеленозмийцев Зерра. Только теперь он был одет приличней прежнего. Добротный заморский костюмчик красовался на нём, сверкая этикетками самых лучших вин Испании и Франции; этикетки закарпатских коньяков блистали на груди как ордена; коньяк Хеннесси и коньяк Мартель золотыми звёздами горели возле сердца.

Зерра стал охотно хлебосольничать, предлагая гостю всякие гастрономические чудеса: неподалёку от байкальского омуля, рядом с омуляткой – самой мелкой рыбёшкой – поросёнком развалился трёхметровый, двухсоткилограммовый атлантический осётр холодного копчения, подающийся к водочке.

– Вот, кстати, давай-ка и врежем! – воскликнул Зерра. – Сделаем опрокидонт за здоровье Царь-Бабы-Яги! Пускай живёт и процветает! Как она тебе, Иван?

– Страшновата маленько, а так ничего...

– Ты говори, брат, да не заговаривайся! – Зерра зашептал прямо в ухо. – Тут везде доносчики. Вот так вот брякнешь, Ванька, и без башки останешься.

Парень растерянно похлопал глазами. Голову в плечи втянул.

– Да мне-то что... Детей с ней не крестить...

– Ну, это как сказать... Тебя зачем сюда позвали, а? Сначала ты будешь делать детей, ну, а потом крестить. Ха-ха.

– Какого, Зерра, ты болтаешь? – удивился парень.

– Замнём для ясности, – балагурил Зеленозмийцев, разливая по стаканам и по полу. – Под такую закуску, да не выпить? Грех. Не знаешь, что это? Величайшая редкость – хрустальное мясо.

– Ох, ты! А съедобных бриллиантов тут нету на закуску? Подошёл Воррагам, знаток и гурман.

– Это медузы, братец мой. Медузы, приправленные перцем, корицей и мускатным орехом – излюбленное лакомство китайцев и японцев. – Воррагам хохотнул. – Только мне сдается – это чисто русское лакомство. Если посмотреть на любого русского с утра, с похмелья, он выглядит краше всякого японца и почище самого завязаного китайца.

– В самую точку, – подхватил Зеленозмийцев. – Давай-ка сделаем опрокидонт. Врежем за японцев и за китайцев. И за мир во всём мире.

И опять среди столов разноцветным хороводом заходили скоморохи и шуты. Стали выкомуривать – кто во что горазд. Кто-то на ушах плясал, кто-то босиком ходил по потолку; кто-то угли раскалённые глотал как помидоры. На лобное место, сверкающее стальными осками больших топоров, взобрался придворный гений, уже изрядно пьяненький. Раскрасневшийся от вдохновения и коньяка, он стал какие-то перлы читать, сотрясая воздух так, что ближайшие свечи моргали и потухали.

– Лихо, лихо завернул придворный гений! – воскликнул Зеленозмийцев. – За это грех не выпить, господа!

– А, по-моему, пошло, – раскритиковал Подкидыш. – Это не придворный, а притворный гений.

Хорошая акустика опять плохую службу сослужила – голос Ивашки услышала царица Яга, всё ещё сидящая на троне, куда ей подносили попить, поесть. Вино уже ударило в голову царицы, и она уже была не прочь пофлиртовать, не смотря на свои астрономические годы. Короче говоря, наш бедный Ваня попал в переплёт. Омар Хайям когда-то хорошо заметил: «Ты господин несказанного слова, а сказанного слова – ты слуга». Брякнул парень языком, а царица-то хватъ – и поймала за длинный язык. Царица, игриво сверкая очами, сказала, что придворный гений и в самом деле хреноваستنъко пишет, а Ваня нам сейчас продемонстрирует, как надо сочинять.

Опуская глаза, Подкидыш помолчал, сожалея о том, что брякнул. Но отступать было некуда – на него смотрели сотни ядовито-насмешливых глаз, изрядно уже окосевших.

– Ладно! Попробую! – сказал он, глядя на страшную физиономию Бабы Яги. – Ну, вот, пример...

Царь бабушка Яга похожа на врага,
Хотя на самом деле – мать родная.
Царь Бабушке Яге я припадал к ноге,
Свой скромный стих – во славу ей слагая!

Царица посмотрела на палача. За первую строку, где царица сравнивалась с бабушкой, похожей на врага, Ваньку нужно было обезглавить, а за три других строки смело можно было дать «Орден золотого беса». И потому царица замерла в нерешительности, не зная, как быть...

И тут Ивашка снова заговорил стихами, словно кто-то под ребро толкал – давай, давай, смотри, как лихо получается. И Подкидыш давал – импровизировал, закатывая очи к потолку.

Стою, смущаясь и робея, Стыжусь Ивана-дурака... Но я бессмертнее Кощея – Во мне народ, во мне века! И всех на свете красивее – Родная бабушка Яга!

Царица от восторга в ладоши захлопала.

– Златоуст! – похвалила. – Ой, Златоуст!

И все, кто был под сводами дворца, одобрительно гудели.

– Златоуст! – раскатывалось эхо. – Златоуст!

И вдруг откуда-то прислуга прибежала и на рубаху Ивашке прикрутили здоровенный орден, похожий на блюдце, на котором лежат бриллианты вперемежку с золотыми россыпями. «Орден золотого беса», вот что это было, но Подкидыш этого уже не мог сообразить. Он уже почти себе не принадлежал – вольному воля, а пьяному рай.

Вот в таком раю он оказался и не заметил, как здоровенные дворцовые часы, на которых стрелки были похожи на два старинных златокованных копья, – стрелки приблизились к полночи. И веселье разгоралось – просто жуть. Разноцветные шутихи вспыхивали там и тут. И всё больше и больше дворец напоминал королевство кривых зеркал – все уже были кривые, в том смысле, что пьяные. Фривольные парочки – сначала по тёмным углам, а вскоре уже и на свету интимное дело – интёмное – стали беззастенчиво проделывать. Ивашка поначалу не знал, куда глаза упрятать, чтобы не смотреть на срамоту. А потом стало во рту пересыхать. Он дерябнул какого-то зелья, оказавшегося под рукой, и в молодом организме стал подниматься нестерпимый зуд – сладкими занозами колол...

И тут Воррагам появился, панибратски хлопнул по плечу.

– Ну, что? Созрел? Тогда пошли. Посмотришь, как художники работают.

Просторный зал, куда они притопали, был похож на гулкую общественную баню – гулкую, туманную от каких-то заморских благовоний. Там и тут звоночками звенели молодые и весёлые

голоса девчат и юношей. Кое-где завеса тумана и дыма приоткрывалась, и Подкидыш видел, как вдохновенно и самозабвенно художники работают с голой натурой. И художников этих, и этой природы было тут – до черта. Только сами художники, честно сказать, Подкидыша интересовали постольку поскольку, а вот натура – это да, это привлекало, глаз не оторвать. Одна за другой – величавые, стройные, готовые на подвиги во имя искусства – натурщицы чередой проходили перед глазами парня. Кто-то кланялся ему, кто-то шаркал ножкой в золотом или серебряном башмачке. Натурщицы были прикрыты – кто фиговым листом, а кто листочком рукописи. А иногда встречались и такие, кто был вполне прилично приодет. А иногда вдруг перед ним вставала девица в такой шикарной одежде, которую невозможно сделать без волшебства-колдовства.

– Выбирай. – Воррагам предложил так спокойно, как цыган на ярмарке предлагает на выбор всяких разных кобыл. – Не стесняйся, милый. Будь, как дома. Любая с тобой согласится...

– А кого тут выбирать? – Подкидыш скривил губу, над которой дыбом встопорщились пшеничные усики. – Сплошные лахудры!

– Да ты что? Разувай глаза!.. Вот эта, например, смотри...

– Фигня! Колхозные кобылы и то стройнее!

– Ну, ты, нахал! Да на тебя не угодишь! – сердито сказал Воррагам и вдруг многозначительно прошептал на ухо: – Хотя я знаю, знаю, знаю, кто тебе нужен! Сейчас твоя мечта исполнится, Ванёк! И в тот же миг – он глазом не моргнул! – два дюжих молодца в красных рубахах, словно два заправских палача, подхватили Простована под микитки и потащили на плаху. Широкая длинная плаха была – двуспальная, заваленная белыми лебяжьими перинами. Плаха эта на золотых львиных лапах стояла посреди опочивальни Царь-Бабы-Яги. Бедняга не сразу понял, где он есть – всё перед глазами расплывалось, туманилось от благовоний. А потом... потом он заметил золотую вставную челюсть, лежавшую в стакане с водой на столике. Золотой оскал звериной челюсти – там были здоровенные клыки! – горел в лучах настольной маленькой свечи, тёмное пламя которой поразило Ивашку; это было чёрное, дьявольское пламя, пламя похоти... Под горло подкатила тошнота, и парень поначалу головой шарахнулся куда-то в стену – не сразу дверь нашёл. А за дверью – охрана. Подкидыш плохо помнит, что он сделал с двумя или тремя чертями, одетыми в костюмы стрелцов; кажется, он обломал им рога и хвосты оторвал.

В хитроумных лабиринтах сатанилица могли заблудиться даже те, кто проживал не первый год. А первопроходцы – «первопроходимцы», как их тут называли – запросто могли попасть в такие тупики, из которых потом полотёры вытаскивали только косточки, обглоданные крысами. Шибко дремучая была архитектура внутри дворца, который снаружи походил на простую избушку на курьих ножках. Но Простовану повезло – всё-таки выбрался из глухих и тёмных лабиринтов.

Страшно бледный, трясущийся, с дикими стекляшками немигающих глаз, Подкидыш добрался до какой-то комнаты, до грязного стола, где виднелись жалкие остатки пиршества. Торопливо сел и что-то выпил из полулитрового хрустального черепа. Затем поднялся, закружился, будто ужаленный. Ему было и стыдно, и противно. Он открыл окно – сбежать хотел.

И вдруг над ухом Воррагам закаркал, раскатывая «эр»:

– Дурак! Разобьёшься!

Парень глянул из окна – мороз по хребту. Внизу была пропасть, на дне которой серебристой змеей извивалась бурная река. А неподалёку от окошка – в сторонке – проплывало небольшое розоватое облако, словно кровавую ватой набитое.

– И... – Ивашка икнул. – И где мы есть?

– А чёрт их знает! – Воррагам сплюнул за окно. – Может, на Памире, а может, на Тянь-Шане. А может, где-нибудь в предгорье баварских Альп. Это надо спрашивать у тех, кто заведует курьими ногами.

– А кто ими заведует?

– Этого, братуха, тебе никто не скажет. Только хозяин знает. Или хозяйка. – Воррагам подозрительно посмотрел на него. – А ты, гляжу я, что-то быстро управился, Ваня.

– Долго ли, умеючи. А когда же мы домой вернёмся?

– Когда-нибудь. Земля-то круглая. Если, конечно, лапы не сломаются.

– А вы... – Подкидыш насторожился, – где вы ремонтируете лапы?

– Да у нас везде свои ребята, в каждом краю, в каждой области. На каждом континенте. У хозяина всё крепко схвачено. Тебе надо, Ванька, с нами дружить. Может, правда, при дворе останешься? Даже Пушкин служил при царе. Что молчишь?

Вздохмаченный, бледный Подкидыш стоял у окна, тоскливо наблюдая за тем, как медленно, но верно топают избушка на курьих ножках, внутри которой притаился сказочный дворец.

«Вот это влип! – Он от досады чуть снова не хватанул рюмаку водки, но сдержался. – А кто мне виноват? Сам, только сам! А это что у них на стенке? Карта? Карта подземных дорог? Вот повезло!»

Простован хотел поближе подойти, посмотреть на схему подземных путей, но карта неожиданно сложила крылья – две половинки захлопнулись, и перед глазами засверкала страхолюдина: картинка с надписью: «Не влезай, а то убьёт!»

И опять он смотрел в окно. Мимо избушки проплывало облако, потом орёл прошёл на крепких крыльях – глаза алмазами сверкнули. Где-то в туманах на горизонте вяло ворочалось проснувшееся солнце. Затем показалась долина – зелёная, испятнанная оловом озёр. Затем вдалеке завиднелась равнина – жёлтая, усеянная пшеницей, рожью. Дальше тайга показала голубые предгорья. Ивашка обрадовался, узнавая родные места; земля теперь была почти что рядом – кусты трещали, мелкие деревья падали, попадая под куриные лапы, острые, как топоры, под корень срезающие всё, что стояло на пути.

«Ну, теперь-то можно дёру дать!» – приободрился Подкидыш, только это оказалось делом не простым и, перед тем, как дать дёру, пришлось кое-кому по морде дать. В этот ранний час все дрыхли во дворце, а вот охрана бодрствовала. Рогатые черти с секирами стояли на часах – возле двери. От ярости, бушующей в груди, Подкидыш двум или трём обломал рога, одному чуть хвост не оторвал, оттаскивая от двери...

Улепётывал он без оглядки – шуровал по какому-то каменистому берегу вниз по течению. Потом остановился, подумав, что надо было посмотреть на железные лапы. «Кто их ковал? А вдруг моя работа? Или всё же батя постарался?» Однако возвращаться было поздно. Избушка – невзрачная с виду, невинная – уходила по своему какому-то маршруту. «Чудеса, бляха-муха! – Простован обалдело покачал головой. – Снаружи сарай, а внутри что творится...»

Долго шагая куда-то по тёмному лесу, он заблудился, ногу едва не подвернул. Высокие деревья обступили. Горы стали вздыматься косматыми гривами – всё выше и выше. И паутина стала попадаться на пути – как рыболовная толстая сеть, утыканная серыми крючками пауков. Подкидыш поворотил назад и вскоре оказался на какой-то свежей, недавно прорубленной просеке – дремучие ёлки, неохватные кедры и сосны лежали вповалку, светлыми разломами слепили. Только это оказалась не порубка – деревья порушены были и смяты могучими куриными ногами той самой избушки, из которой парень чудом выбрался.

«Тридцать лет растёт кедр, прежде чем разродится орехами, – вспомнил он, вздыхая над убитыми деревьями. – А эти твари что творят? И где на них управу-то найти?»

Двигаясь дальше вдоль берега, Подкидыш увидел чью-то брошенную плоскодонку, забрался в неё и, работая руками, точно вёслами, уплыл на стремнину, ничуть не думая о том,

куда может вывезти эта кривая – река зигзагами струилась между скал, шумно летела через пороги, через перекасты. Река местами была как бешеная – белая пена кипела во рту водоворотов. Лодку едва не разбило на одном из крутых виражей – река уходила за скалы. Изнеможенный, мокрый, он, как зверь, на карачках выбрался на берег, в глухую какую-то чашу заполз, там наломал пихтовых да еловых веток и заснул, похрапывая так, что белка из ближайшего дупла сбежала.

3

Закат напоминал огромный глаз кота с горящим, вертикально вытянутым зрачком, который потихоньку начинал замуриваться где-то в заречных даях, где тучи громоздились как земляные курганы. Рыжевато-красные тени ползли по горам, по полям, трепетали на берёзах под берегом. Эти странные тени – с багрецом и позолотой – в заблуждение ввели, когда парень прочухался. Вдруг показалось, будто осень на дворе – листва на деревьях пожухла и скукожилась, готовая слететь под костистой лапой листодёра. Осень как будто округу уже остудила, осенила крестиками перелётных птиц – над полями, над горами проплывали... Ивашка протёр глаза. «Не может быть! – Он застонал, потрогав большую голову, трещавшую с похмелья. – Лето было на дворе... Не мог же я всё лето в лопухах проспаться?.. А где я был? И где я есть? Это закат? Или это рассвет?»

Где-то за деревьями, за пригорком послышалось петушиное пение, и Подкидыш, веселя, торопливо пошёл в направлении кукарекуканья. Взойдя на взлобок, наголо выбритый многолетними ветрами и снегами, с удивлением и радостью осознал, что находится почти на том же самом месте, с которого они взлетели с Воррагамом...

«А как это взлетели мы? Верхом на тросточке? Внутри бутылки? – Он пожал плечами. – Да это же бред!.. Или всё-таки было?» Ответить на этот вопрос он не мог. Пока, во всяком случае, не мог, потому что мозги не фурычили; вместо головы он ощущал какой-то гудящий гудом камень, лежащий на плечах; камень или чурку трёхпудовую, у которой были глаза и уши, и с похмелья пересохший рот, искривившийся так, словно его заштопали суровой ниткой...

«Господи! Да чтобы я когда ещё какую пакость выпил! Да ни в жись!» – Он даже хотел перекреститься, давая себе клятву, но рука почему-то задержалась на полпути...

– Нет, не перекрестись! – вдруг послышался голос. – Не перекрестись! Ха-ха! Потому что гром ещё не грянул!

Вздвигнув, Подкидыш позиркал по сторонам.

«Что за чертовщина? Кто это орёт мне под руку?»

Поблизости не было ни души. Но вскоре он заприметил жирного чёрного ворона, сидящего на ближайшем амбаре, причём не просто так сидел, подлец, а сидел, закинув ногу на ногу и дымя противной папироской, – ветерок доносил такой мерзопакостный запах, словно бы смолили старого козла.

«Значит, не приснилось? – тоскливо и отчаянно осознал Подкидыш, склоняя покаянную головушку, где виднелись брошки чертополоха. – Значит, я оставил там и отцовскую балалайку, и стыд, и совесть. Господи! И что же теперь делать?»

4

С больными мозгами и растрёпанным сердцем кое-как доковыляв до дому, он собрал всю свою «бересту», исписанную вдоль и поперёк, и затолкал в раскрытый зев холодной печки.

Дед Илья, проснувшись наверху, свесил косматую голову.

– Пришёл? – сонно спросил. – А где ты всю неделю пропадал? Коробок со спичками упал под ноги парня.

– Не... неделю?..

– Ну, а скоко? – Дед посмотрел из-под руки. – Батька с матерью с ума чуть не сошли. Обыскались тебя. Где тебя черти носили?

Парень поднял коробок, чиркнул спичкой.

– Вот уж носили, так носили, – задумчиво ответил, – рассказать, так не поверишь.

– Ну, молчи. Я за язык тянуть не стану. А зачем ты печку топишь среди лета? Я тут сопрею. Слышишь? Ты кого там делаешь?

– Да так... Твоему совету решил последовать.

– Какому совету?

– Ну, ты же сам сказал – надо всё спалить и успокоиться. – Подкидыш усмехнулся, поднимая голову. – А чего ты всполошился, Илья Муромец?

Дед ноги с печки свесил.

– Да жалко чо-то стало. У тебя там были перлы...

– Ерунда. Это я перловки обожрался.

– Так-то оно так, только перловка, внучек, лучше водки. Водка до добра не доведёт.

– Смотри какой дорогою идти, – многозначительно сказал Ивашка и, выйдя из дому, обречённо поплёлся куда-то в синие, вечерние луга, облитые горячечными красками зари.

«Всю душу испоганил! – стучало в голове. – Как жить-то после этого? Лучше подохнуть!..»

Он долго шёл, понуро глазами бездорожье ковырял, потом остановился на речном, лобастом крутояре, откуда было видно широко и далеко – разгульные места для половодья, для рыбаков и охотников. Тёмно-сизая вечерняя вода под обрывом так пошумливила и так переплёскивалась, будто русалки разребячились на плёсах, беспечно посмеивались, не обращая внимания на человека, подошедшего к самому краю гибели. И русалки посмеивались, и птицы беспечно растилиликались в березняке. И очень странно было, больно и обидно сознавать, что этот мир даже ресничкой не вздрогнет, когда ты решишься на такую вот отчаянную глупость – добровольно, чтоб не сказать слабовольно уйти из жизни, собственной рукою угробить своё солнце, навеки погасить, когда оно только-только встаёт, разгорается под небесами родины твоей.

Часть вторая Вершина



Глава первая. Подковать пегаса

1

Обрыв дышал губительной громадной глубиной – сорвёшься, так костей не соберут. Но Старик-Черновик, находясь на самой рискованной кромке, не испытывал ни малейшего страха – уникальный этот человек обладал редчайшим даром левитации. Проще говоря, он мог летать. Это не раз и не два спасало его самого, а главное спасало тех людей, с которыми приходилось работать. Но, если быть точным, спасала даже не левитация, а другой изумительный дар – телепортация. Мгновенное, почти молниеносное перемещение в пространстве, вот что это значит. Есть ещё и другие слова-заменители этой фантастической способности: джантация, трансгрессия, гиперпрыжок. А если попросту: это всё равно, что сесть верхом на молнию и пролететь чёртову уйму поднебесных километров – за несколько мгновений.

Азбуковедыч именно так и поступил тогда – много лет назад, когда юный гений отчаялся и дошёл до обрыва широкошумной реки. Старик в самую последнюю секунду ухватил Ивашку за воротник.

– Прежде чем совершать подобную глупость, нужно задать себе вопрос: «А всё ли я сделал на этой Земле?» – тихо сказал он юному гению. – А ну-ка, отойдём, поговорим. Что ты, в самом деле, как эта... Катерина из «Грозы». Будь мужиком, держи себя в руках. Не лезь поперёд батки в петлю.

Слушая эту абракадабру, горемыка понуро сидел на обломке поваленного дерева – недалеко от обрыва. Молчал, в недоумении рассматривая черномазого чудодея, в руках у которого золотом блестело огромное перо, похожее на карабин.

Постепенно приходя в себя после пережитого волнения, Подкидыш повеселел, только весёлость была какая-то нервная.

Отойдя подальше от обрыва, они раззолотили костерок. И снова Подкидыш – как это уже было в аэропорту в Стольнограде – вдруг ощутил странное какое-то чувство родства с этим необыкновенным стариком.

– А как же ты здесь очутился? – стал спрашивать парень.

– Прилетел. – Азбуковедыч посмотрел в небеса. – Не пешком же топать за тридевять земель. Пегас на что нам даден? А?

– Погас? Кто погас?

– Светильник разума чуть было не погас. Ох, Ванька, Ванька! Тебе ещё учиться да учиться. Неужели ты даже Пегаса не знаешь?

– Знаю. – Парень вяло отмахнулся. – Жеребец такой. Как самолёт на крыльях...

– Ну, ты меня расхохотал! – с горечью сказал Абра-Кадабрыч. – Жеребец, ага. Колхозный мерин, на котором лирики свои вёрсты меряют. Эх ты, тайга дремучая! Пегас – чтобы ты знал – это крылатый конь, который прилетел к нам из греческой мифологии. Сын Посейдона и горгоны Медузы. Но это был первый Пегас. А затем родился и второй, и третий, и тридцать третий. Кони эти обрусели, и теперь они весело ржут на самом чистом русском языке. А почему? Да потому, что русской ржи в полях нажрались. Ха-ха-ха.

Мифология и так-то была для парня темнее дремучего леса. А если ещё мифология с абракадабрами – вообще не понятно.

– Так ты на нём, что ль? Азбуковедыч! На коне прилетел?

– Нет, верхом на помеле! – Оруженосец поднял золотое перо величиной с карабин и между ног засунул. – Примерно, вот так. Тебе это что-нибудь напоминает? Нет? Знакомая баба яга сто лет назад хотела выйти замуж за меня. Кое-как отбоярился. Бороду даю на отсечение.

Она мне, помню, говорил: «С милым рай и в шабаше!» Золотые горы обещала. Иди, говорит, служить при дворе. Даже Пушкин служил при царе. Тебе это ничего не напоминает? Нет? Хорошо погулял? Молодец. Нашёл приключений на задницу?

Парень содрогнулся и, отойдя от костра, вытянув шею, настороженно посмотрел по сторонам. Ему вдруг почудилось, будто избушка на курьих ножках идёт неподалёку, скрипит, кричит. Он заметил огонёк в полях и ещё больше насторожился. Но это был, скорее всего, костёр, – может, рыбаки, может, охотники с ночевьём остались на дальних островах или где-то в широкой пойме, заваленной гниющими деревьями, непроходимыми шарагами. Там – царство красноталов, там смородина, малина и шиповник; там травы стоят в человеческий рост – белоголовники, борщевики; там такие красные пахучие цветы – понюхаешь, будто из рюмочки дерябнешь красного винца; там с первых дней весны до заморозков – дикая вольница бесчисленных перелётных уток, гусей, лебедей...

Тишина вечерней земли и воды умиротворённо подействовали на Простована – прилёг на траву у костра.

– Крылатый конь? – недоверчиво спросил. – Ты на нём прилетел? А куда подевал?

– Здесь. Тебя дожидается. – Старик прищурил маленькие чёрные глаза, похожие на чёртиков, прячущихся под седыми кустами бровей. – Только тебе после гульбища не мешало бы это... или под дождь или в баньку сходить. Или искупаться. Иначе Пегас не подпустит к себе. Он такой. С характером.

Чувство брезгливости заставило не только скривиться – парень даже сплюнул, отворачиваясь.

– А ты откуда знаешь про мою гулянку?

Азбуковедыч потыкал пальцем в небо.

– Или ты всё ещё не веришь в небесную канцелярию?

– А ты возьми и докажи. Делов-то. Ненадолго задумавшись, старик пробормотал:

– Да будет свет, да будет дождь... Кажется, так... – Он отошёл в сторонку и, продолжая что-то бормотать, в ладоши звонко хлопнул.

В небесах неожиданно ярко сверкнуло, и через несколько секунд над головами прокатился громовой раскат, заставляя парня содрогнуться – и жутковато вдруг стало, и весело; вот это старик – громовец, можно сказать. Первые капли зашипели на огне, засверкали, гвоздочками втыкаясь в траву под ногами, в сухую вечернюю пыль. Через минуту костёр погас.

Звонкий дождик ливанул – заиграл как ливенка, у которой сотни тысяч кнопочек из перламутра...

Они спустились к берегу. Подкидыш разделся под деревом, выпугнул какую-то птаху из ветвей. Вода – как это всегда бывает под дождём, – необыкновенно тёплая, парная. Временами в облаках луна светила, мелко заштрихованная косыми и стремительными строчками. Дождь неожиданно усилился – на реку сыпом сыпалось будто бы сухое многоточие дождя – бесчисленные точки сначала отскакивали от поверхности, и только потом уже река принимала небесную влагу, признавала её родство со своею земной стихией. Простован купался с превеликим удовольствием, хотя и не решался отплывать от берега – жутковастенько по темноте. Дождь прошёл короткий, как по заказу; хотя, возможно, так оно и было, только Ивашка поверить в это пока не мог. А после дождя, после благодатного купания было то, что старик обещал.

2

Сначала странный свет сверкнул под небесами – точно промелькнула падучая звезда, серебряной строчкой сгорая за вершинами тёмного бора. Затем впереди что-то стало сиять молочно-туманным сиянием, будто с неба слетевшим или встающим из-под земли. Слегка засветились вершины ближайших деревьев, засеребрились кусты, и вот уже трава, цветы,

листва, мокрые после дождя, – всё заиграло, засверкало перед глазами изумлённого Ивашки. А вслед за этим на несколько мгновений вдруг сделалось так ярко, так жарко – словно что-то загорелось поблизости. Но этот диковинный жар был не снаружи, а внутри – сердцу стало жарко, а вот спину будто мороз коробил. Парень вдруг испугался до того, что зажмурился. А когда открыл глаза – старик уже успел преобразиться: переодетый во что-то белое, ослепительное, он теперь был не Старик-Черновик, а тот самый Белинский, с которым Ивашка недавно шараборился по Стольному Граду.

– Не бойся, – успокаивал Белинский. – Это конь смиренный. С лирическим уклоном. Хотя и забывать не надобно о том, что у коня – перед кусается, а зад лягается.

Чудное сияние убавилось, и волнение в сердце улеглось, и вот тогда из тёплого вечернего тумана показался белый крылатый конь. Земля под ним горела – там, где он ступал – серебряные оттиски подков пламенели на земле как полумесяцы.

Подкидыш, знакомый с кузнечным рукоеслом, восхищённо присвистнул.

– Я отродясь таких подковок не встречал!

– Ну, так ещё бы! – Старик стал рассказывать, какое великое это искусство – подковать Пегаса. Какие тонюсенькие требуются ухналы – специальные гвоздики для подков. А дальше – увлекаясь и вдохновляясь – Оруженосец от литературы начал пространную завиральную повесть о том, как помогал подковывать блоху одному хорошему русскому писателю.

– Блоху? – удивился Простован. – А зачем писателю блоха, да ещё с подковками?

– Блохи, Ваня, к сожалению, встречаются у писателей и поэтов. Причём литературная блоха такая тварь, что ты её дустом не выведешь. Возьмём классический пример из Лермонтова:

«И Терек, прыгая, как львица с косматой гривой на хребте...» Не помнишь эти строки? Не проходили в школе? Проходили? А когда проходили, ты не обратил внимания, что гривы у львицы не бывает. Грива – это признак льва.

– Я запутался. – Подкидыш встряхнул головой. – Ты начал про блоху, а теперь на льва перескочил.

– Ну, я же, Ваня, говорю, у одного хорошего писателя мастер был такой – левша. Он блоху подковал.

– А зачем? Блоху нужно к ногтю. Она же, собака, кусается.

– Да ещё как! – согласился старик. – Помню, с Горьким работал над пьесой «На дне», так меня эти блохи едва не загрызли. Горького они уже давно узнавали в лицо, а на меня набросились. А насчёт того, что пользы нету от блохи, даже подкованной – это верно. Что тут скажешь? «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить». А впрочем, и другие не лучше. Дон Кихот в Испании родился, так ведь и его нельзя понять. Какого чёрта он все мельницы порушил в родном отечестве? Ты можешь мне сказать?

– Дон Кихот? А кто это? – Ивашка перестал моргать. – Я только этого знаю... Тихого Дона...

Запрокинув голову, старик захохотал, мерцая острым зубом, похожим на перо от самописки.

– Стало быть, ты не читал ни «Левшу», ни «Правшу»? Ни «Дон-Кихота», ни «Дон Жуана»?.. Эх, Ваня, Ваня! Тайга замшелая! Тебе ещё учиться да учиться!

– Да я не против.

– Это обнадёживает. – Старик сунул руку в карман и показал такое что-то, что сказочным светом озарило тёмную ладонь.

– Ох, ты! – Парень наклонился. – А это что?

– Волшебные лунные лучики. Я их забиваю вместо ухналей. Бывший работник кузницы раззявил рот.

– Да как их можно забить?

– Ногтем. Пальцем. А как же? Тут не кувалдой махать. Дело тонкое. А там, где тонко, так и врётся.

– Рвётся, ты хочешь сказать?

– Я всегда говорю то, что хочу. – Помолчав, Оруженосец опять засунул руку в карман. – А вот это – посмотри – это звёздные лучики. Тоже годятся дляковки Пегаса. Всё зависит от того, какая масть у лошади. А слово масть – от слова «мастер». Соображаешь?

– Интересно. – Парень затылок почесал. – Азбуковедыч, а где ты берёшь такие гвоздочки?

Делая вид, что не слышит, Азбуковед Азбуковедыч спрятал «гвоздочки» в левый карман, а из правого достал россыпи старославянского алфавита, который вдруг превратился в пригоршню золотого овса.

– На, Ивашка, промокашка, покорми. Путь был далёкий, долгий. Крылач проголодался. Покорми. Пускай привыкает к тебе.

Послышалось тёплое дыхание Пегаса, наклонившегося над золотом овса. Мягкие губы крылача приятно пощекотали ладонь – всё подобрали до крошки. Смелея, парень потрепал Пегаса по косматой гриве, почесал широкое крыло, с которого вдруг посыпалась звёздная пыль...

– Красавец! – Подкидыш восхищённо цокнул языком. – У нас в колхозе днём с огнём не найдёшь таких...

Абра-Кадабрыч расхохотался.

– Вот сказанул, так сказанул! Подковину загнул! Ты что, ещё не понял? Это – Пегас! Крылач небесной масти... – Старик заволновался. – Это чистокровный, без подмеси! Это очень дорогой подарок, парень!

– А кто этот подарок тебе сделал?

– Это, Ваня, подарок не мне. Это – тебе.

Парень дыхание задержал. Несколько секунд они молчали, глядя друг на друга. Река в тишине под обрывом зашумела сильнее обычного. Филин ухнул в далёком бору.

Нахмуриваясь, парень посмотрел на коня-крылача.

– Мне? Подарок? Да ну-у-у, Азбуковедыч. Ну, чо смеяться-то?

– И в самом деле! – Старик поцарапал свой нос, похожий на перевёрнутый вопросительный знак. – Чо смеяться-то? А ты подумай, голова. Летел бы я за тридевять земель – позубоскалить.

Делать, что ли, нечего? Это, парень, твой Пегас. Бери. Владей. Меня попросили, вот я и доставил...

– Кто? Кто попросил?

Оруженосец глазами показал на небо.

– Так я же тебе говорил. Оттуда прислали. И коня, и меня. – Старик развёл руками. – Так что ты, Иван Великогрозыч, извини... Я приставлен к тебе не по собственной воле. Служба такая...

– Приставлен? Зачем?

– Ну, мало ли? – Абра-Кадабрыч посмотрел в сторону глубокого обрыва. – Чтобы ты, например, вперёд батьки в петлю не полез.

Парень усики раздражённо стал пощипывать.

– Да ладно, всё нормально.

– Ну, ну, не обижайся. Больше не буду напоминать, на большую мозоль наступать. – Старик зевнул, сверкая зубом, похожим на золотое перо от самописки. – Притомился в дороге. Старость не радость. Ох, переоденусь. Не Белинский.

Темнота ещё сильнее загустевала над полями. Огоньки в домах раззолотились россыпями звёзд. Где-то взмыкнула корова. Собака залаяла накоротке.

– К нам пошли, отдохнёшь.

– Ага. Там тебя встретят, чем ворота подпирают, и мне достанется.

– А мы на сеновале где-нибудь.

– Нет, Ваня, нет. Я вот чего боюсь... – Старик пригнулся, посмотрел по сторонам. – Ты ведь сбежал от них... из этого шабаша.

– Сбежал. Ну и что?

– Вот я и думаю, как бы они погоню за тобою не организовали. А ежели так, значит, могут нагрязнить домой.

– А если они... – Ивашка встревожился, – если дом запалят?

– Дом у вас железный. Ты что, не знал? А папка твой... – Старик Азбуковедыч засопел. – Короче, он с ними умеет общий язык находить. Не волнуйся. Этим чертям нужен только ты и всё. Если тебя там нет – ничего твоим родным не сделают. Поверь.

Они помолчали, прислушиваясь к покою вселенной. Земные краски почти пропали – кусты, деревья, горы – всё поглотила тьма и тишина. Небосвод очернился уже по всему необъятному кругу, только на западном склоне, куда ушёл огромный летний день, в предгорьях закатный свет ещё немного сопротивлялся. Желтушные брызги подтаивали и подсыхали на тёмно-синих тучах и облаках, своими контурами и своим громадным изваянием напоминая облик Творца, который в этот час будто бы решил дозором обойти огромные владения.

Розовый цветок далёкого костра, трепетно цветущего где-то в пойме, стал потихоньку жухнуть и вскоре лепестки его совсем пропали. За рекой на болоте послышался протяжный, гнусавый голос – крик ночного быка, так тут называли выпь, с виду маленькую, но обладающую таким могучим рёвом, от которого спину морозом коробит впотьмах.

Передёрнув плечами, Азбуковед Азбуковедыч стал рассказывать:

– Жил я когда-то среди северных народов, человеку одному помогал собирать сказания. Там у них считается, что вот эта выпь не сама прилетает на родину – журавли её приносят на спине. И там, где они её сбросят на землю, эта тварь начинает базлать по ночам, людям несчастье пророчит. Богоргоно – так её зовут якуты. «Рёв медведя», кажется, так переводится. А у нанайцев это – ачаки.

– Бык! Медведь!.. – Подкидыш отмахнулся. – Всё это страшилки для детей! Я видел этого быка, этого медведя. Соплёю можно перешибить.

– Невзрачная, да, – согласился старик, – но коварная. Я однажды бродил по болоту, на уток охотился. А выпь, она ведь желто-бурая, неприметная среди камыша и осоки. Но я заметил и решил поближе подойти, посмотреть, что это за бык такой, что за медведь, наводящий страхи на детей и даже взрослых. И вдруг эта зараза как саданула клювом – прямо в лоб. Кровища залила всю фотокарточку. Ладно, хоть в глаз не попала...

И опять помолчали, прислушиваясь к тёмному покою, обсыпанному звёздами – от края и до края.

– Никакие журавли эту выпь не приносят на спинах, – заверил Ивашка. – Сама прилетает. В конце апреля, в начале мая. Тут журавлей ещё не видно, а эта стерва уже воет по ночам. Как в пустую бочку.

Продолжая что-то бормотать, слуга-оруженосец удалился в темень, подыскал более надёжное местечко, потом стреножил белого крылатого коня, укрыв какую-то чёрною попоной – в трёх шагах не видно. Потом, что-то ворча по поводу своей нелёгкой доли, снял стародавний рыцарский плащ, сияющий яркой заплатой – расстелил на прошлогоднем сене.

– Утро вечера не дряннее. – Абра-Кадабрыч зевнул. – Ложись, поспи, а я покараулю. Надо следовать советам классиков:

Не рассуждай, не хлопочи!.. Безумство ищет, глупость судит; Дневные раны сном лечи,
А завтра быть чему, то будет. Живя, умей все пережить: Печаль и радость, и тревогу.
Чего желать? О чем тужить? День пережит – и слава богу!

«И в самом деле, – Подкидыш потянулся, – день пережит, и слава богу».

3

Во сне он увидел белого крылатого коня – Пегас бежал по полю, ну, то есть, по бумаге и следом за ним появлялись буквы, слова и строчки. Пегас не бежал, а печатал своими хорошо подкованными копытами... «А как это так получается?» – изумлялся Ивашка. «Скоро узнаешь, – говорил Черновик. – А пока пойми одну простую вещь: если у тебя Пегас подкован хорошо, тогда и слово на бумаге не хромает! Более того, могу сказать, если это, конечно, тебе интересно...»

И старик рассказал немало занимательного и увлекательного. А между рассказами о писателях, о книгах он как-то незаметно стал говорить о жизни вообще. И выходило так, что лучше бы Ивану Простовану не заниматься этим трудным ремеслом – лучше бы ему остаться в родной деревне, землю пахать да железо ковать. И лучше бы ему не выкомуривать, не придумывать себе никакой царевны Златоустки, потому что рядом есть чудесная девушка Незабудка, простая, работающая, во многом по-детски наивная, верящая в магию любовных приворотов и любовного зелья. И если Иван Простован возьмёт её в жены – Незабудка эта вскоре так расцветёт, как ни расцветает ни один волшебный цветок, открывающий клады в ночь на Ивана Купала. Красноречивый был старик, чудесно бойкий на язык. Должно быть, он и в самом деле жил на белом свете не первые сто лет – довольно много знал и так убедительно говорил, что невозможно не верить. До глубокой ночи он старался парню втолковать простую мысль: счастье человека зачастую ждёт не за горами – за углом родного дома. Странно только было: зачем он отговаривал от дела, которому посвятили жизнь и Пушкин, и Толстой, и Достоевский. Дело-то хорошее. Зачем отговаривать? Всё равно Подкидыш уйдёт из дому. Это решено. «Я уйду, так брат Апора, может, уговорит Незабудку, любит он её без ума, без памяти».

Простован ощутил сквозь сон невнятный аромат незабудки – цветка, растущего неподалёку. Проснулся. Потянулся.

Под боком что-то слабо сияло впотьмах – это старик на землю постелил своё рублище, на котором золотая заплатка. Потом рука Ивашки погладила траву, и показалось, будто под пальцы угодила нежный цветок незабудки. Он хотел сорвать, проверить, ошибся, нет ли? Но пальцы как-то сами собой отпустили цветок-стебелёк; Простовану расхотелось рвать только затем, чтобы удостовериться и выбросить.

«А где старик? – Подкидыш приподнялся. – Храпит где-нибудь под кустом?»

Слуга-оруженосец неподалёку сидел – какой-то необычайно громадный на фоне ночного неба. Косматая голова старика заслонила мириады созвездий, и только лишь одно – созвездие Лиры – сияло над стариком. Но Ивашка пока ещё не знал, что это за созвездие, он только изумился этому сиянию: будто нимб горел над головой святого.

«А чего он там колдует? Молится? – Парень шею вытянул. – О, какой заботливый...»

Сосредоточенно сопя, Оруженосец привычно, скрупулёзно чистил золотое перо величиной с карабин. Неподалёку блестела какая-то раскрытая коробка – старая книга, показавшаяся волшебным коробом. Старик с необычайной осторожностью вынимал из коробки что-то сверкающее, что-то сияющее и почти беззвучно заряжал обойму огромного пера, вокруг которого кружилась золотая мушка.

– Ну, ну, – ворчал старик, – не егози, успеешь.

Золотая мушка покружилась в воздухе и опустилась на кончик ствола – туда, где мушка и должна быть у всякого оружия.

«Чудеса!» – Подкидыш языком прицокнул.

Заметив шевеление под кустом смородины, Оруженосец отодвинул коробку в тень, поставил обойму на место и протяжно вздохнул.

– Чего ты встопорчился? А? Спи, покуда спится.

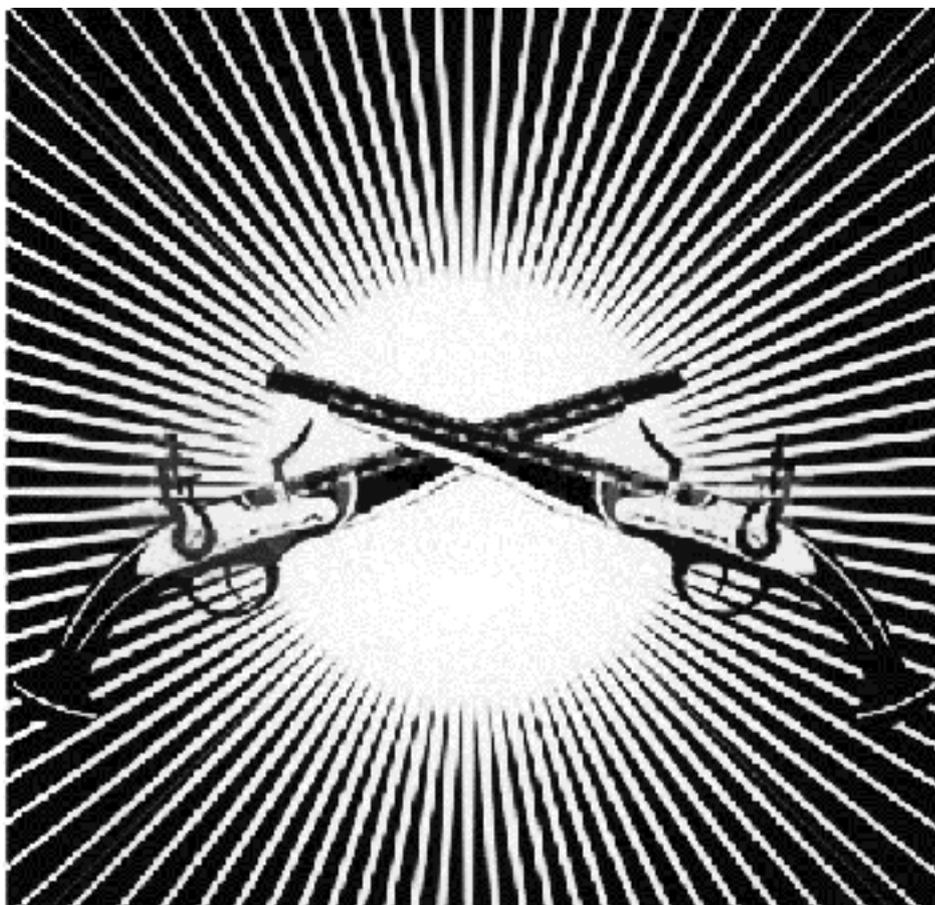
– Парень зевнул.

– А ты чего, Абрам Арапыч? Время позднее.

– И я поспать бы рад, да только не могу. Морфей уже давно забыл ко мне дорогу.

– Матвей? А кто это?

– Бестолочь, вот кто! – Старик поднялся и, взяв оружие наизготовку, посмотрел по сторонам. – Спи, потом растолкую. Расскажу тебе и про Матфея, про Морфея. И про наше солнце незакатное. У меня из-за него такая безнадежная бессонница. Да, да. Люди спят без солнца. А у меня бессонница без солнца. Я ведь, кажется, уже говорил о том, что я – эфиоп. С древнегреческого это переводится как «человек с обожжённым на солнце лицом». Только солнце было необычное – Солнце русской поэзии. Если хочешь, я расскажу.



Глава вторая. Солнце убитое, солнце бессмертное

1

Великая беда случилась в далёкой юности, когда он работал тенью около солнца – Солнца русской поэзии. Он всю жизнь потом казнил себя за то, что не сумел предотвратить дуэль. А такая возможность была. Так он сам считает. Была возможность уберечь Солнце русской поэзии, а он, слуга-оруженосец, Черновик несчастный, зимою 1837 года своею собственной рукой переписал письмо хозяина.

«Господин Барон! – было в том письме. – Позвольте мне подвести итог всему, что случилось. Поведение вашего сына было мне давно известно и не могло оставить меня равнодушным... вы служили сводником вашему сыну... тогда как он только подлец и шалопай...»

Собственноручно переписав это письмо, Оруженосец помог отправить. И ничто не дрогнуло в молодом и глупом сердце паренька-черновика. Работая «тенью», он рад был услужить Солнцу русской поэзии, не думая о последствиях. Да и что он мог думать? Кто он такой? Черновик, простой чернорабочий от литературы. Январскими ночами у камина он добросовестно переписывал всё, что было озарено Солнцем русской поэзии, а потом – никем не зримый и не тревожимый – отсыпался в кабинете хозяина. И даже в ту минуту, когда хозяин стоял в медвежьей шубе на морозе и ждал, когда секунданты притопчут крахмалы скрипящих снегов на том пространстве, которое необходимо для поединка – даже тогда он сладко спал. И только в то мгновение, когда пуля была уже в воздухе – слуга всем телом дёрнулся во сне и вдруг увидел огромное Солнце, насквозь простреленное, кровоточащее, медленно валившееся в чёрный стылый снег.

Так закончился его последний мирный сон. После этого он уже видел только кошмары, которые сводились к одному: Чёрная речка, чёрная бездонная могила, гроб, в котором лежит Солнце русской поэзии. Могильщики поднимают крышку гроба и накрывают убитое, бледное Солнце. А вместе с ним будто накрывают и Черновика. В домовине становится душно, тесно. Сверху стучит молоток, коротко и сочно позванивают гвозди, стальными стежками намертво сшивая доски, прищемившие последнюю соломинку света. Покачиваясь, гроб уходит куда-то в преисподние глубины. Мёрзлые комья земли громом грохочут по крышке и неожиданно превращаются в искрящиеся метеориты, которые срывают гробовую крышку, и Солнце – вот оно! – опять восходит, опять ликует, потому что оно во веки веков было и останется бессмертным Русским Солнцем, рядом с которым вечно будет плыть и плыть чёрное облако Черновика, виновника этой потрясающей трагедии.

Нервный срыв и самобичевание стали причиной жестокой бессонницы, длящейся многие годы. Старик Азбуковедыч чего только не перепробовал для того, чтобы избавиться от недуга. Сердобольные русские знахарки заставляли его читать заговор на 12 ложек воды: «Заря-заряница, красная девица, тебе на потухание, рабу Божьему на засыпание. Спать тебе, не просыпаться, с бессонницей не знаться – с вечерней зари до утренней!» Бурятские шаманы сон-траву под голову толкали, алтайские шаманы мумиё давали пить. Тибетские ламы, индийские йоги предлагали свои рецепты. Но нет и нет – Морфей забыл к нему дорогу.

И вот что удивительно: день за днем и год за годом организм работал ровно, чётко. Старик-Черновик делал всё, что делает нормальный человек, только не спал. Когда хотелось отдохнуть – ложился и, на какое-то время закрывая глаза, имитировал спящего. Никогда и никому Оруженосец не говорил о своём фантастическом недуге. Сначала стеснялся этой «болячки», но вскоре осознал своё преимущество перед другими. Простые смертные – вот какую арифметику узнал он – треть своей жизни тратят на сон. Если ты прожил на белом свете 60, значит, 20

лет проспал. А если ты прожил 100 лет – 35 проспал. Кошмар какой-то. В общем, в результате своей болезни он оказался здоровее очень многих – пока другие спят, он скрупулёзно, честно дело делает.

Сердце дрогнуло. «Честно? Ой, ли! Ой, ли! Всегда ли честно? – Черноликий вздохнул. – Однажды чёрт попутал. Даже сам не знаю, как получилось. Французы пистолеты привезли...»

Воровато посмотрев по сторонам, старик достал какой-то чемоданчик, спрятанный под тем кустом, возле которого спал Ивашка, да только спал он теперь тревожно, чутко; то приснится Воррагам, то Царь-Баба-Яга. И в ту минуту, когда старик достал свой хитрый чемоданчик, Подкидыш проснулся – секретные замки на чемоданчике зубами щёлкнули. И в следующий миг Подкидыш похолодел: старик достал какой-то пистолет из чемодана – видно, решил укокошить...

Заметив округлённые глаза Подкидыша, старик усмехнулся в бороду.

– Ну, что ты, что ты, – пробормотал он, – пистолеты даже не заряжены. Я ведь понял, что ты не спишь. Показать тебе хотел.

2

И старик стал рассказывать о том, как в мире сделалось темно и мрачно после убийства Солнца русской поэзии, как страдал он бессонницей, но более того – муки совести мучили. Ведь он же был ни кто-нибудь – Оруженосец. Как же он мог проглядеть проклятые пистолеты, из которых стрелялись на Чёрной речке? И где они теперь? В кого они ещё могут прицелиться? Какое солнце они ещё способны погасить? Эти мысли обуяли Старика-Черновика. И тогда он решил разыскать дуэльные пистолеты, чтобы хранить у себя. Ведь он Оруженосец, так будет справедливо. И вот тогда-то началась его охота за дуэльным гарнитуром, как называют этот чемоданчик с оружием. И радость его не знала границ, когда пистолеты привезли в Стольноград, где готовились отметить очередную печальную годовщину гибели Солнца русской поэзии. Оруженосец ещё не знал, как заберёт себе это оружие, но то, что заберёт – сомнений даже не было. И тут судьба пошла ему навстречу. В выставочном зале, где эти пистолеты хотели поначалу выставить на обозрение, неожиданно стал протекать потолок. Пистолеты перенесли в другое помещение, а там ещё хуже – полы вдруг стали проседать и провалились. И такая открылась дыра – гиена огненная видна была где-то в глубине земного шара. Пистолеты, обрушившись, пропали бы там навсегда. И только лишь благодаря усилиям Оруженосца этот дуэльный гарнитур был спасён. Так неужели же после этого пистолеты не могут быть собственностью Оруженосца? О каком ограблении века затрубили газеты? Пистолетов практически нет – они сгорели в гиене огненной. Что вы хотите, господа? Горсточку пепла? Но Старик-Черновик – по своей душевной доброте – предложил господам не горсточку пепла. Он предложил пистолеты, очень похожие на настоящие. Нет! Их, видите ли, это не устраивает. Это подделка, верните нам настоящие. Хорошо, я верну вам настоящие, но только при одном условии: если вы мне вернёте настоящее Солнце русской поэзии. А если нет, так нечего... водку в ступе толочь. Мало того, что убили национального гения, так вам ещё отдай оружие убийства? Зачем? Чтобы вы снова кого-нибудь укокошили?

Ошеломлённый этим монологом, Подкидыш, как зачарованный смотрел на небольшой старинный чемоданчик с дуэльной гарнитурой. На бархате в своих специальных гнездах лежали два пистолета, молоток, при помощи которого пуля заколачивалась в гранёный ствол; коробочки для пороха, коробочки для кремния и всякая другая мелочевка, которая сегодня у многих вызывает недоумение и усмешку; сегодня научились убивать куда как проще, глазом моргнуть не успеешь.

А Старик Азбуковедыч продолжал:

– Теперь ты понимаешь, какой поклёп возводят на меня? Пистолеты сгорели в гиене огненной! Их нет! А газеты меня обвинили в преступлении века! То, что убили Солнце русской поэзии – это вроде как ничего, а то, что пистолеты пропали – это неслыханное преступление! Да по мне так вообще надо всё оружие в кучу собрать и выбросить в гиену огненную!

Подкидыш задумался.

– Ну, а всё-таки... – осторожно спросил, – как тебе удалось?

Там же охрана, сигнализация...

Старик на минуту забылся, мечтательно улыбаясь.

– Я когда-то работал с Артуром Конан Дойлом, С Агатой Кристи. Ах, какие были времена! Какие сюжеты мы заворачивали в детективах!

– Значит, ты их всё же облапошил? Тех, которые поймать хотели. Вздрогнув, Черновик снова будто вернулся к реальности.

– Всё это поклёп, сынок. Всех собак на старика хотят повесить. Ты посмотри, что они пишут, окаянные! – Старик достал газеты из чемоданчика. – Смотри. Или не видишь? Ну, так я тебе всё наизусть поведать могу. Тут написано про то, что выставка, тщательно охраняемая в Стольнограде, должна была переехать в Северную Столицу. И вот здесь-то, мол, произошло ограбление века – два дуэльных пистолета бесследно пропали. Бедная охрана клялась, божи-лась, землю жрала и запивала слезами раскаянья. Охрана говорила, что ни на секунду глаз не отрывала – стерегли большой несгораемый короб, в котором под замками находился чемоданчик с пистолетами. Криминалисты, в срочном порядке вызванные на место преступления, стали под лупой рассматривать место происшествия, стали расспрашивать. А что, дескать, за сторож был в музее? Да какой-то Белинский. Ну и, конечно, в тот же день и в тот же час был объявлен розыск, причём не какой-нибудь «всесоюзный», нет, – розыск планетарного размаха. Этого Белинского начали искать по всему земному шару, предлагая за поимку такую сумму – нули сосчитать невозможно. Да вот, полюбуйся.

При сумрачном свете луны плоховастенько было рассматривать. И тогда старик достал магический кристалл – что-то наподобие фонарика. Ивашка полистал помятые газеты с фотографиями какого-то странного типа, который выдавал себя за Белинского. Подстриженный под горшок, с благородной бородкой, этот Белинский ничуть не походил на Старика-Черновика. И это не могло не обрадовать Ивашку – в глубине души. А на поверхности – досада и недоумение. Парень был ошарашен этой историей.

– А зачем ты их украл? Продать хотел?

– Ну, во-первых, я не воровал. Я – Оруженосец! А кроме того... Ох, да ладно, потом расскажу. А сейчас я бы хотел тебе задать вопрос. Ты, первоклассный кузнец, сможешь сделать копию с этих пистолетов?

– Копья? Из пистолетов? Зачем же их губить, если они такие дорогие?

Абра-Кадабрыч невесело засмеялся.

– Человек из города Пномпень! Чтоб не сказать Пнём Пень! – Он обнял Ивашку. – Не обижайся. Да я бы первый голову свернул тому, кто из этих пистолетов стал бы делать копья. Я предлагаю сделать ко-пи-ю...

– А-а-а-! Ну, теперь понятно. Так я это делал уже. Мне привозили из города такие финтифлюшки из музея, которые нужно было скопировать.

– Ну, слава тебе, господи, что понял. Так сможешь или нет? Посмотри вдругорядь. Посмотри и подумай. У меня есть одна неважнецкая копия. А нужно так, чтобы комар свой клюв не подточил.

Старик снова достал магический кристалл – посветить. Подкидыш по требованию Оруженосца напялил тонкие прозрачные перчатки. Внимательно, почти не дыша, стал рассматривать ящик, обтянутый зелёным сукном. В ящике лежали два пистолета с калибровкой на 15 миллиметров, с кривыми деревянными рукоятками.

– Работа мастера Карла Уильбриха, – прошептал старик на ухо. – Где-то между 1820 и 1830 годами.

– А из какого из этих... Кто из какого стрелял?

– Сие истории не известно. – Старик закрыл дуэльный гарнитур. – Ну, так что? Сумеешь сделать? А?

– Не знаю. Попробую. Только где я это сделаю? Кузница нужна и время...

– Всё будет, Ваня. Я гарантирую.

– Да как же будет? Батька поутру...

– Батьку я беру на себя, – заверил Азбуковедыч. – Тут главное – копия. Нужна такая копия, чтобы французский комар носа не подточил!

– А почему – французский?

– Так ведь это же... – Старик пощёлкал пальцем по ящику с пистолетами, – достояние Франции. Дело серьёзное. Ты можешь отказаться. Пока не поздно. Я не обижусь. Я кого-нибудь другого поищу. Только навряд ли найду. Я уже всю округу обшарил...

Лицо Подкидыша вдруг стало мрачным.

– Ты, наверно, поэтому заметил меня? Писанина тут, наверно, не причём? Сознайся.

– Талантливый человек во всём талантлив, – уклончиво ответил Азбуковедыч. – Разве я виноват, что твоё мастерство спервоначала проявилось на кузнице?

– Ладно! – решился Подкидыш. – Айда! Не будем время терять! – Сделав несколько шагов, он спохватился, посмотрел по сторонам. – А где мой конь?

– Пегас? На вольном выпасе. Ты за него не волнуйся.

При пасмурном свете луны пришли на кузницу. Парень проворно стал горнило раскочегаривать – искры полетели по тёмной кузне, тени пауками поползли, словно молотки и молоточки сами собою пошли пешком по стенам и потолку. Никогда ещё ночью он тут не работал, да ещё тайком, по-воровски. Жутковато было. И в то же время – сладко отчего-то. И вспомнились краденые яблоки в саду за рекой, куда он лазил и один, и с парнишками. Яблоки были – так себе, среди них встречались даже червивые. А между тем, эти яблоки казались – куда как слаще тех, которые золотились да розоватились на ветках в своём родном саду.

– Стой! А как же я стану ковать? – Ивашка чуть молот не выронил себе на ногу. – Звону здесь будет – ого-го. Вся деревня на уши поднимется! Тут не только что батька – и мертвые на погосте повыскакивают, прибегут!

– Не прибегут, – уверенно сказал старик. – Я сейчас пойду, найду молчанку.

– Волчанку? Зачем?

– Нет. Волчанка, Ваня, это болезнь. Туберкулёз, не к ночи будет сказано. Волчанка – туберкулёз кожи, жуткая штука. Я говорю о другом... Молчанка. Не знаешь? Ну, так ты же ещё молодой.

Самое трудное было теперь – найти волшебную траву молчанку. Об этой траве даже древние травники и травницы мало что знают. Есть, например, трава очанка – глаза, ну, то бишь, очи можно вылечить с её помощью. Эта травка многим известна. А вот молчанка – почти никому. Знахарь молчит про неё, потому как – молчанка; такой закон, такая тайна, связанная с этой травой. Она даётся в руки только избранным, только тем, кто живёт на земле больше ста тридцати – такое бытует поверье. Старику-Черновику, по крайней мере, эта травка в руки не давалась, покуда он был молодой, а как только перешёл за сто тридцать четыре – травка стала попадаться на пути. Чудесная травка – молчанка. Хорошо от красноты помогает, от пустопорожней болтовни. Дашь человеку настойки с этой травой, он выпьет три-четыре глоточка – и замолчит на три или четыре годочка. Старику-Черновику и самому приходилось пить эту молчанку – давал обет молчания, когда работал в монастыре с монахами. Два с половиною года молчал, только перышком скрипел, переписывая всякие манускрипты, святые предания.

Пламя в горне разгорелось – золотым ракитовым кустом.

Выйдя за порог, Подкидыш посмотрел из-под руки – старик из-за берёз шагал навстречу. – Нашёл, слава тебе, господи! – сообщил он. – Теперь на три версты в округе будет – тишь да гладь, да божья благодать. Ничего не будет слышно. Нужно только правильно очертить волшебный круг – за который не вырвется звук.

– Давай, черти, да я начну...

Что-то бормоча под нос, старик широким кругом обошёл приземистую кузню и возвратился к двери.

– Готово! Начинай. А я сгожусь тебе? В молотобойцы.

– Пока не надо. Я присмотрюсь. Потом позову, если что... Мне бы только свету как можно больше.

– Да будет свет! Хотя я и не Бог! – пробормотал старик и подцепил магический кристалл под низким закопчённым потолком. – Вот так сойдёт?

– Вполне. Как прямо днём.

– Ну, вот и хорошо, работай, Ваня. А я тут рядом буду, на часах. Надо посматривать на всякий случай. Что-то на душе тревожно.

– И у меня тревожно, – признался Ивашка. – А этот розыск, который был объявлен...

– А! Ты вот о чём? – Старик взял газеты из чемоданчика, бросил в огонь. – Это дело закрыли за давностью лет. Мне просто хочется отдать им хорошую копию, чтобы они успокоились и не держали зла на старика. Ну, с Богом. Время дорого.

– погоди, давай проверим твою молчанку.

Волшебная трава сделала своё благое дело; незримый круг, очерченный при помощи молчанки, будто незримый колокол, не пропускал звоны-перезвоны, раздающиеся в кузнице. Встанешь на пороге – в ушах звенит от звона. А отойдёшь на пять шагов – ступишь за волшебный круг – и тишина кругом, такая тишина, как в первый день творения земли и неба.

Ивашка добросовестно трудился до рассвета, пока не ударил петух на деревне – звонкое эхо прорвалось за волшебный круг, очерченный травой молчанкой.

3

Песнопенье петуха разогнало последний морок, и парень проснулся, удивляясь тому, что лежит под сосной на берегу реки, куда ушёл под вечер – то ли вчера, или когда это случилось?

Проморгавшись, он уставился на небо в заревых разводах, похожих на кипрей. Краюха догорающей луны стояла над горами.

«А где старик? Оруженосец... – смутно припомнилось. – Где Пегас? И что я в кузнице всю ночь ковал? Какие-то копыя? Или всё это пригрезилось? Ну, надо же! Приснится же такое...»

В недоумении покрутив кудлатой головой, парень встал и машинально поднял с земли какое-то чёрное рубище, на котором он спал – это было одежка Черновика. Передёрнув плечами – зябковато было на заре – Подкидыш напялил на себя чужое рубище, похожее на рыцарский плащ, и по рассеянности даже не заметил, что это одеяние чужое – в пору пришлось.

Над рекой, лугами и пашнями птицы начинали нежно тилиликат. Облака на востоке розовели большими букетами. Собираясь покидать место ночлега, парень рассеянно смотрел по сторонам, будто бы искал вчерашний день. В тени возле деревьев и под копной возле реки он увидел странные оттиски подков – едва светились серебрецом, пропадая при свете зари, точно истаивая, как истаивает последний снег. Присев на корточки, Ивашка, чему-то улыбаясь, рукой погладил оттиск полумесяца на сырой земле – ладонь покрылась серебрецом, которое тут же превратилось в капельки росы.

– Мы только проснулись, – вдруг раздался голос за спиной, – а Ванька уже землю рогом роет. Не иначе, как золото ищет. Златоискатель...

Он повернулся, продолжая улыбаться протяжной блаженной улыбкой. Навстречу ему – в сторону поля – бодрым шагом топали и на телегах ехали односельчане.

– С добрым утречком, люди! – с полупоклоном сказал Ивашка. – Кто рано встаёт, тому бог подаёт!

– Ну, тебе, видать, уже подал грамм сто пятьдесят, – насмешливо ответил односельчанин, разглядывая странное обличие Подкидыша, помятого, косматого спросонья, лицо и руки в саже, в копоты. А главное – он был одет в какое-то чёрное жалкое рубище, на котором сверкала будто золотая, яркая заплатка.

– Загулял, видать, Ванюша. Скоро будет пьян, как хрюша. – за спиною Подкидыша засмеялись. – Это дело такое, только начать. Кума искала бражки, осталась без рубашки.

Глава третья. Прости-прощай

1

Семейство было в сборе. Сидели чинно, строго за большим столом, посредине которого – как свадебный генерал – сиял-красовался надраенный тульский самовар, награждённый многочисленными орденами и медалями: «Поставщик Двора Его Императорского Величества Шаха Персидского»; «Николай II Император и самодержавец Всероссийский», «Франко-Русская выставка 1899 года», «Парижская выставка 1904 года»...

Мельком посмотрев на самовар, Подкидыш неожиданно вспомнил: в избушке на курьих ножках его, кажется, тоже награждали каким-то орденом, похожим на чайное блюдце, на котором сияли золотая и бриллиантовая россыпи.

– Здорово ночевали! – излишне бодро сказал он, останавливаясь около двери.

Ему не ответили. Дружное семейство сосредоточенно завтракало перед тем, как отправиться на работу. Пахло щами и оладьями. Кошка возле порога облизывалась – парень чуть на хвост не наступил, входя в избу.

Брат Апора и сестра Надёжа молча покосились на него. Дед Мурава сутулился над своей миской так, словно боялся, что вот-вот отнимут. Не поднимая головы, дед угрюмо и отстраненно наворачивал перловую кашу – перлы повисли на усах, на бороде. А Великогроз Горнилыч бросил на Ивашку такой сердитый взгляд, словно камень зафитилил. И только Хрусталина Харитоновна – матушка, седое, кроткое создание, – была приветлива. Мать затевала новую стряпню-квашню – кадушка из кедра была уже полная. В этой кадушке – говорили старые хозяйки – тесто быстрее бродит и поднимается прямо на глазах; когда-то Ивашка делал обручи для этой кадки – обручался с ней, как он шутил.

Вытирая руки о фартук, Хрусталина Харитоновна вздохнула.

– Садись, поешь, сынок. Где ты пропал?

– Да вот – нашёлся, – ответил он опять-таки излишне бодро.

– Одежонка у тебя, – заинтересовалась матушка, присматриваясь. – Как монах какой...

Опуская глаза, Подкидыш чуть не ахнул – только теперь заметил. «Старик-Черновик?! Значит, не приснилось? Как это я раньше не обратил внимания...»

Хмуро глядя на парня, Великогроз Горнилыч облизнул деревянную ложку, будто собираясь треснуть ею по лобешнику сына, как в детстве бывало.

– Ну что? И долго это будет продолжаться?

– Тятя, – Ивашка улыбнулся. – Ты об чём?

Кузнец не расслышал его бормотанье, гневно прихлопнул по столу чугунно-тяжёлой рукой и взялся высказывать все, что накипело на душе. Иван, смущаясь и потея, пытался что-то возражать, но Великогроз Горнилыч, полуоглохший в кузнице, уже совсем не слышал от волнения – кровь кидалась в голову. Отец покраснел густыми пятнами, точно из бани пришёл, а затем бледнел и покрывался каплями крупного пота, как бывало у горна, где стоял, махал пудовым молотом. На душе Великогроза давненько уже великая гроза собиралась в отношении этого несчастного Подкидыша. Громыхая голосом и крупным кулаком, он припомнил всё, что было и чего не было.

Тяжело работая «мехами», задыхаясь от возмущения, кузнец поставил точку в разговоре:

– Всё! Хватит бить баклуши! Хватит шаромыжничать!

– Я ни одну баклушу ни разу не ударил, – ответил Ивашка, простодушно хлопая глазами. – Ни одна баклуша ничего худого мне не сделала.

– А тебя не мешало бы отдубасить! – Кузнец опять шарахнул кулаком по столу – самовар-генерал покачнулся, затанцевали стаканы, чашки и вилки с ложками забрякали. – Где балалайка? Пропил?

Ивашка растерялся, не ожидая такого вопроса.

– Во дворце балалайка осталась. Меня приглашали... Великогроз Горнилыч презрительно глянул – как орёл на муху.

– Во дворцы приглашают? – Язвительно хмыкнул. – А на пашню? Нет? Ну, так я приглашаю. Хватит дурью маяться. Не хочешь работать на кузне – неволить не буду. Бери соху, коня...

– Конь у меня есть уже.

– Краденый, что ли? Или с цыганами дружбу завёл?

– Нет. Пегас у меня. – Ивашка расправил плечи. – Я хочу работать на своих полях.

– На каких это – своих? – удивился отец.

– Скоро узнаешь. – Подкидыш подкрутил свои жиденькие усы и неожиданно заявил: – Я учиться поеду!

Ложка застыла в руке у отца – наваристые щи на стол закапали.

– Это куда ж ты намылился? В Стольный Град?

– Скоро узнаешь...

– Что ты заладил: «узнаешь, узнаешь!» – Разгневанный кузнец отбросил ложку. – Ну, собрался, так катись. Скатертью дорога. В моём доме дармоедов не было и не будет, покуда я жив.

Разговор накалился до того, что Подкидыш выскочил из-за стола и остановился напротив отца, который тоже встал. Глядели друг на друга как чужие, остервенело глазами грызли. И кузнец неожиданно дрогнул во время этой короткой дуэли – глаза мигнули, юркнули куда-то в угол. И этого Подкидышу было достаточно, чтобы ощутить свою победу.

Отойдя от стола, он помолчал, катая желваки по скулам. Потом поклонился.

– Спасибо, тятя, за хлеб, за соль...

Слабохарактерная Хрусталина Харитоновна молча заплакала, а Великогроз Горнилыч, как грозная туча, потемнел лицом.

– Оперился? Летаешь? – При этих словах отец почему-то посмотрел на ступу, стоящую неподалёку. – А на какие шиши ты летаешь? Взял у деда пенсию и пробубенил за два дня? Молоток! И не стыдно?

Внук удивлённо и укоризненно посмотрел на деда, который продолжал сутулиться над кашей.

– Деньги – пыль на дорогах истории. Ясно? И я вам скоро всё верну. Вот увидите.

– Обидите? – не расслышал отец. – Тебя обидишь! Ты сначала сморкало своё подотри, потом уже порхай на самолётах. Оболтус. Такие деньги за два дня уханькал! Мне за эти деньги надо всё лето молотом махать! А он...

Пристыженный Подкидыш занервничал. Дрожащие руки засунул в чёрный рыцарский плащ – в глубокие карманы – и вдруг обнаружил там что-то хрустящее. Поглядел – покосился – и ахнул. Это были новые купюры. И в следующий миг деньги листвою посыпались по горнице, попадая в чашки и в стаканы, заваливаясь под стол.

– Кому я сколько должен? А? Чего примолкли? – Ивашка заговорил каким-то барским тоном. – Держите! Мне не жалко...

Всё дружное семейство обалдело смотрело, как бумажки шелестят и мелькают по воздуху, словно разноцветный листопад. И никто словечка вымолвить не мог, настолько это было изумительно – никто и никогда ещё в этом доме так не сорил деньгами.

Дед Илья закашлялся – кашей подавился.

– Соловей-разбойник! – спросил он, напряжённо глядя из-под руки. – Ты кого ограбил на большой дороге?

– Никого я не грабил. Это деньги моего слуги. Кузнец пошёл к порогу, стал обуваться.

– Я не знаю, – пробасил он, сидя на табуретке и с трудом натягивая сапоги, чтобы идти на работу, – не знаю, где ты эти деньги взял, но если ты сейчас не подметёшь, не уберёшь, я за себя не ручаюсь...

Подкидыш в недоумении посмотрел на него.

– Нету денег – плохо. А появились, так опять нехорошо. На тебя не угодишь. Ты всё время такой – точно корова сдохла.

– А у тебя – отелилась? Ты весёлый, да? – Кузнец потыкал пальцем, похожим на стамеску – показал на подполье. – Иди, самогонку допей с утречка, так вообще обхохочешься. И золотые горы будут, и жратовки навалом...

Надсадно вздыхая, парень поглядел в деревянную чашку, полную обглоданных костей.

– Ну, что вы за люди? Вам бы только пожрать...

– А ты святым духом питаешься? – Великогроз Горнилыч поднялся, топнул обутым сапогом. – Тока смотри, сынок, не подавись.

– Прокормлюсь. И не духом святым, а талантом. Понятно?

– В землю зарой свой талант, – сердито посоветовал кузнец. – Знаешь, как мечи ковали в древности? Так я тебе скажу. Железную заготовку, много раз перекованную внахлест, оружейник закапывал в землю, в самое сырое место. Надолго закапывал. Лет на двадцать. Сырая земля выедала всю ржавчину и другие примеси железа, и оставалось только то, что становилось потом самой крепкой, благородной сталью.

– Тятя, ты к чему это?

– Подумай. – Великогроз Горнилыч ногтем-стамеской покрутил возле своего виска. – Покумекай. Или у тебя только талант, а мозгов-то ни-ни?

– И ты подумай! – Подкидыш неожиданно загорячился. – Что ты вдруг вспомнил о том, как мечи ковали в древности? Ты лучше вспомни, как ты недавно когти ковал кое-кому, запасные зубья, топорик палачу. Что рот разинул? Думаешь, не знаю? Знаю! Я видел! Видел своими глазами! Что ты делаешь? А? Сегодня ты им помогаешь, а завтра они этими когтями да зубами тебя же и разорвут. Попомни моё слово. Это во-первых. А во-вторых. Скажи мне, тятя, откуда на пепелище, на устье Золотом, где всё сгорело подчистую, – откуда там уголёк из нашей кузницы? Кому ты его дал? Молчишь? Так я скажу.

Скуластое лицо Великогроза, смуглое от кузнечной копоти, стремительно стало бледнеть.

– Сопляк! – закричал он, топнув подкованным сапогом – кошка отскочила под кровать. – Сначала сморкало своё подотри, потом будешь отца к ответу призывать, советы давать. Вот когда будет семья у тебя...

– Чего ты прикрываешься семьёй? – перебил Подкидыш. – Не захотел бы, так не работал на этих чертей. Пошёл бы вон землю пахать или с ружьём по тайге.

– Ага! – Губы отца задрожали. – Только неизвестно, где бы вы были теперь.

Брат с сестрой и матушка с дедом – никто не мог понять, о чём они так жарко и так сердито спорят. И самое странное в этом споре было то, что Великогроз Горнилыч говорил каким-то виноватым тоном, словно бы в чём-то оправдывался.

Понимая всю щекотливость своего положения в этом споре, кузнец, нервно покусывая ноготь-стамеску, поторопился уйти из дому, напоследок машинально крестясь на икону Николая Чудотворца. Следом за ним во двор потянулись брат и сестра. И только мать осталась около Ивашки – отговорить хотела.

– Ну, куда ты, сынок? Ну, зачем?

2

Великолепный денёк разгорался по-над землёй. Птицы звонко пели в березняках за дорогой. Над синими горами вдалеке, над полями солнце уже распольхалось в туманах – дымилось необъятным малиновым кругом, зажигая росы на траве, на цветах и словно бы разбрасывая золотые шляпы от подсолнухов по всем ближайшим рекам и озёрам.

Улыбаясь небу и земле, путник шагал, куда глаза глядели, куда стремилась юная и вольнолюбивая душа. Светлая дорога стелилась впереди – прямая, чистая. Ветряная мельница на бугорке мелькала, приветливо махала своею деревянной растрескавшейся ладонью, знакомой с крепкими рукопожатьями ветров, снегов и ливней. Над рекою плакучая ива роняла шипучие слёзы, точно оплакивала победную головушку Ивана. Озеро шумно вздохнуло вдали, поднимая стаю лебедей, точно белым платком приветствуя юного странника. А дальше было тихо, грустно, сиротливо – сердце сжималось от неизвестности. Что его ждёт на этих древних русских путях, на которых не одно копыто расковалось, кидая подкову на счастье, и не одно колесо на телеге отколесилось, в туман укатилось... Сколько прошло и проехало здесь пилигримов? И каждый надеялся счастье-долю сыскать на земле. А что они нашли? Что потеряли? Кто скажет? Да теперь-то уж, наверное, никто. Разве что степные крутолобые курганы могут об этом тебе рассказать, когда в тишине, в позолоте раскаленного полдня ты будешь искать заветерье, прохладную затень, когда ты приляжешь на грудь великана-кургана и в забытьи, в полудрёме вдруг услышишь гулкое, бессмертное сердцебиение родной земли, хранящей память русскую, историю.

Беспечный путник шагал вот так-то по родимой земле и дошагал до большого белого камня, лежащего в чистом поле – на развилке двух дорог. Камень был простой – остался тут, когда, должно быть, строили посёлок Босиз; каменный карьер был неподалёку. Но Подкидышу этот камень показался необыкновенным. На нём было как будто написано то, что обычно в сказках пишется: налево пойдёшь – к богатству придёшь, а направо пойдёшь – великую печаль и мудрость обретёшь.

По молодости лет не привыкший ходить «налево», Ивашка двинулся направо, и тут же перед ним – точно из-под земли – появился Оруженосец. Только теперь он был похож на человека из Древнего Рима – кусок белой ткани задрапировал смуглое тело Черновика.

– По латыни – тога, а по-русски – простыня, – забывая здороваться, сказал житель Древнего Рима. – Значит, выбрал дороженьку? Определился?

– Выбрал! – твёрдо ответил парень.

– Не пожалеешь? Нет? Может, надо послушаться Рембрандта? – Старик вздохнул. – Когда-то Рембрандт сказал молодому художнику, который собирался в путешествие. «Останься дома! – говорил он. – Останься дома! Целой жизни не хватит на познание чудес, какие здесь таятся!»

Подкидыш пожал плечами.

– Я не художник... – Он достал из котомки помятый рыцарский плащ. – Вот, держи. Чего ты в этой простыне, как чучело.

– О! – обрадовался житель Древнего Рима. – А я подумал, что потерял.

– Да нет, ты вчера постелил под сосной...

– Ну, теперь-то вспомнил...

– А пистолеты? – спросил Ивашка. – Где пистолеты?

– Какие пистолеты? – Старик нарочито нахмурился. – Насчёт пистолетов не помню...

– Ну, те, которые... Дуэль...

– Погоди... – Старик пошарил по карманам рубища. – А где же, где же? Неужели потерял?

– Извини... – Подкидыш покашлял в кулак. – Я маленько истратил...

– Деньги? Да я не об этом... – Старик достал из кармана уздечку, золотом сверкнувшую на солнце. – Вот за что переживал. Только при помощи этой уздечки можно Пегаса поймать.

– Да? – Парень глазами пострелял по сторонам. – А где он сейчас?

– Где-то там, на вольном выпасе под облаками... – Старик напряжённо смотрел прямо в глаза. – Значит, говоришь, определился? Насчёт дороги? Ты подумай, Ваня. Крепко подумай. Дело-то нешуточное. Трудно будет. Голодно и холодно...

– Ничего! – заупрямился парень. – Перекуём мечи на калачи!

– Да в том-то и дело, что калачами там не пахнет. Только дырки от бубликов. – Старик нахмурился. – Нет, конечно, есть примеры баснословных гонимых. Я же не первые сто лет живу на земле, знаю. У Вальтера Скотта, к примеру, были почти что королевские доходы. Виктор Гюго после себя оставил миллионное состояние. Вольтер умел вытягивать деньги и подарки из монархов своей эпохи... Но всё это, я должен тебя предупредить, исключение. А правило звучит довольно жёстко: «Сестрой таланта оказывается нужда!» Это сказал древнеримский Петроний. Он, между прочим, носил вот такую же белую тогу. А ты говоришь, я – как чучело. А я, может быть, похож на Петронию. И я вслед за ним говорю тебе: сестра таланта – это нужда. Запомни.

– А в школе, – вспомнил Подкидыш, – говорили, что краткость – сеструха таланта.

– В школе? В школе научат! В школе повторяют вслед за Чеховым: «Краткость – сестра таланта! Краткость – сестра таланта!» Долдонят, как эти, как попки, а того не знают, что древнеримский Петроний задолго до Чехова сказал: «Не знаю, почему так получается, что сестрой таланта оказывается нужда». И эта формула куда как точнее, а главное – честнее. «Сестра таланта – нужда!» Ты возьми любую книгу Достоевского, Сервантеса, Гюго – там краткостью не пахнет. Кирпичи такие, что ого-го. А вот если мы возьмём биографию того или иного поэта или писателя – они нужды хлебнули через край! Взять хотя бы Софокла. Не слышал? Нет? Софокла боготворили так, что в честь его воздвигали алтари – считали его поэзию божественной, но никому и в голову не могло придти, что Софокл не духом святым питается.

Не совсем понимая, о чём идёт речь, Подкидыш отмахнулся от мухи или от шмеля, кружившего над головой.

– Бог не выдаст, свинья не съест.

Житель Древнего Рима, плотнее завернувшись в белую тогу, вытянул правую руку.

– Вперёд, мой друг, вперёд. Я предупредил, а там как знаешь.

3

Вечерняя заря жёлтовато-медовыми красками оплывала по западному склону горизонта, когда они устроили первый привал. Переводя дыхание, молча посидели на земле под деревом, полюбовались предзакатными красками, щедро и сочно размазанными по лугам, по берегу, уставленному свечками берёз, по воде, озобчиво дрожащей в роднике.

Заметив что-то под ногами, Оруженосец пробормотал:

– О, знал бы ты, что так бывает, когда пускался на дебют...

Подкидыш повернулся к нему и прищурился.

– Куда? Куда пускался?

Придерживая тогу, житель Древнего Рима наклонился – под пальцами его тонко пискнул сорванный стебелёк изумрудной травы под названием пастернак. А затем – вдыхая тонкий аромат чарующего пастернака – старик стал монотонно декламировать, глядя в небо:

О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что строчки с кровью – убивают,

Нахлынут горлом и убьют!

От шуток с этой подоплёкой
Я б отказался наотрез.
Начало было так далёко,
Так робок первый интерес.

Но старость – это Рим, который
Взамен турусов и колёс
Не читки требует с актера,
А полной гибели всерьёз.

Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлёт раба,
И тут кончается искусство,
И дышат почва и судьба.

Двигаясь дальше, Подкидыш остановился на краю болота, поросшего ольхой, ветлой и чахлыми осинками.

– Не знаю, как насчёт судьбы, а почва под ногами задышала! – сказал он, тревожно глядя вниз. – Смотри! Куда это мы вышли? Заблудились?

Абра-Кадабрыч поцарапал бороду:

– Я не Сусанин, но я с усами. Да и вообще... Дорогу осилит грядущий. Вперёд! Без страха и сомнений! Только вперёд! Хотя – постой. – Старик потрогал почву под ногами. – Не будем рисковать. Ты посиди тут, на сухом бугорке, бруслику поклуй, а я пойду покуда, посмотрю, что да как. Может быть, царевну-лягушку повстречаю, так она подскажет, где пройти.

«Лишь бы царь-бабу-ягу не повстречать», – мрачно подумал Ивашка, оставшись на сухом пригорке.

Смеркалось. В небесах над болотом звёзды потихоньку зацветали, распуская лепестки, – этот высокий и широкий звездоцвет похож был на крохотные лилии. Прогорклый запах гнили и запах торфа становились густыми, отвратными. И в то же время воздух обогащался тонким ароматом вереска, нежностью багульника, кассандры и голубики... А потом Подкидыш вздрогнул и старательно глаза протёр. «То ли показалось, то ли правда?»

Вдали над трясинной задрожал какой-то робкий огонёк. Всего лишь несколько мгновений тот огонёк дрожал-лихорадился, потом погас – будто нырнул в трясину, чтобы вскоре вспыхнуть где-нибудь поодаль, подразнить, попугать багрово-синим язычком.

Парню стало не по себе. Он шею вытянул, высматривая Оруженосца.

Вскоре тот вернулся – принёс охапку сухого мха.

– Здесь придётся ночевать, – сказал он, расстилая мох. – Не будем рыпаться, а то провалимся.

– Весёленькое дело! – хмыкнул парень и опять заметил вспышку на болоте. – Смотри! Смотри! Что это?

– Где? – Черновик прищурил свой «кошачий» глаз, способный видеть в сумерках. – А! Это – огнёвка.

– Что за огнёвка?

– Болотный огонёк или блуждающий огонь. Или фонарик. Или дурацкий огонь. Или – огненный демон. Как только не называют в народе... – стал рассказывать старик. – Чем глубже болото, чем чаще полыхает огнёвка. Так что не вздумай пойти за этим огнём. Пропадёшь.

– Надо же! – Парень даже на цыпочки приподнялся, оглядывая темень. – А почему он вспыхивает?

– Болотный дух злобится.

– На кого?

– Ну, может быть, на нас. За то, что припёрлись незваные гости, покой нарушили. – Старик соорудил подушку из сухого мха, сел на неё и сурово продолжил: – Ну, всё это сказки, легенды и предания. А вот тебе другая сторона медали. Прозаическая, так сказать. Господа материалисты. Кха-кха. Ты, надеюсь, слышал про таких?

– Ну, так, маленько...

– Ясно. Так вот они, материалисты, утверждают, что наружу просто-напросто выходят болотные газы – метан, фосфин. Чёрт их знает, почему, но вот они-то и загораются. Только я, откровенно говоря, не шибко верю господам материалистам. Дело в том, что бывают случаи, когда блуждающий огонь появляется там, где болотного газа вообще не может быть – над зыбучими песками, например. Над могилами. Кроме того, я знал немало рыбаков, которые ночью видели такой огонь на берегу, брали курс на него и погибали в открытом море. А это были опытные люди, бороду даю на отсечение.

Подкидыш передёрнул плечами – на болоте становилось зябко, неуютно.

– Весёленькая тема, – пробормотал, взглядываясь в темноту. – Вон там опять сверкнуло...

И там – и там...

– Теперь до утра будут хороводить. Не обращай внимания.

– Ну, так что же это за огоньки?

– Не знаю. Христиане считали их душами покойных людей. Англосаксы и финны были уверены, что это – души умерших некрещеных детей. Как бы там ни было, но... Я давно живу на белом свете и могу тебе твёрдо сказать: раньше эта огнёвка вспыхивала гораздо чаще. Теперь – не то.

– Хорошо это? Нет? А почему?

– А потому что люди душат сказку – душат со всех сторон.

Болота осушают, реки перегораживают.

– Да разве это плохо – осушить болото, поставить гидроэлектростанцию на реке, чтобы людям лампочка светила, а не вот такие болотные огни?

– Молодой ты, Ваня, и многого ещё не разумеешь. – Старик развёл руками. – Творец не просто так, не от скуки сотворил болото. Во всем была необходимость. Мера. А человек, возомнив себя, чёрт знает, кем, начал хряпать всё, что рядом. И добром это не кончится, увы!

– Вот на этой жизнерадостной ноте мы и закончим, – пробормотал Простован, зевая и укладываясь на подушках сухого хрустящего мха.

Остывающий болотный воздух прохладной иголкой покалывал щёки, щекотал под бока, заставляя поминутно ворочаться.

«А дома сейчас – красота! – Ивашка вздохнул. – Тятенька домой пришёл, какую-нибудь железяку опять притащил. Матушка с поля вернулась, брат и сестрица. До полусмерти замордованные, а всё-таки довольные. Сходили на речку за огородами, там поплескались в тёплых омутах, в чистое бельё переоделись. Потом – за стол, а там жратвы навалом. Батя с братом дёрнут по стопке самогона – с устатку. Молча, степенно поужинают, звякая ложками, вилками, сосредоточенно прожёвывая и стеклянно, туповато глядя куда-то в стол и в пол. А затем всё семейство завалится спать, чтобы завтра с петухами снова подняться, побряхтывая, и знакомой дорогой снова идти на работу свою, чтобы там до вечерней звезды горбатиться над горячим железом, над пыльной пахотой, над прополкой, которой не видно конца...»

Чувство потаённой зависти – как-то незаметно для самого Подкидыша – перешло в чувство недоумения и даже глухого раздражения.

«И вот это вот – ихняя жизнь? Это – ихняя сказка? – с горечью думал Подкидыш. – Я что-то не пойму, какой тут смысл? И дед, и прадед, и прапрадед с прабабкой вот так же горбатились, рожали и растили ребятишек, потом ребятишки становились отцами, дедами. И все они – все как один! – копались в навозе, будто искали жемчужное какое-то зерно, и помирали, ни черта не отыскав. Но какой же смысл вот в этом бесконечном хождении по кругу? Однажды я в горах на старом руднике видел приспособу для несчастной лошади, ходившей по кругу, – в камнях тропинка выбита копытами. Так она была – слепая, каторжная лошадь. Она и сдохла в хомуте, как заводная, ходя по кругу. Ну, так ведь мы же не слепые кони. Ну, ведь должен же быть какой-то смысл, итог всей этой каторги! Должен быть – и есть! А иначе – как же? Зачем всё вот это – небо, горы, звёзды? Зачем они светят? Только чтоб иголки собирать, да снова шить и шить? А жить когда, родимые? Песни петь – когда? Улыбаться, радоваться. . . .» Простован стал потихоньку все эти мысли вслух произносить, а старик – тоже потихоньку – стал поддерживать полночный разговор.

Глядя в сторону звезды, промелькнувшей над болотными хлябями и упавшей где-то за тридевять земель, житель Древнего Рима переключился на рассказы об устройстве мироздания.

– Солнце, между прочим, это звезда, самая ближайшая к Земле.

– Солнце – это звезда? – не поверил Подкидыш. – Я думал, что солнце – это солнце, да и всё.

– Нет. Солнце – это единственная звезда, которую мы видим невооружённым глазом. А все другие звёзды удалены от нас на световые года. Возьми хоть самый мощный телескоп – ничего не увидишь на звёздах. Муму непостижимо, как далеко. . .

И чем больше парень слушал старика, тем больше поражался его разносторонним познаниям. Хоть о мирозданье он мог увлечённо рассказывать, хоть о чём-то самом-самом приземлённом.

– Вот, смотри. – Оруженосец сорвал какой-то стебелёк. – Это трава – собинка. Сам цветочек синий, листочки красные и корень тоже красный.

– Темно. Я не вижу.

– Ну, значит, верь мне на слово. Эту травку хорошо давать жене и мужу с вином – дружно будут жить.

– Ты это к чему?

– Да так, просто трава под руку подвернулась.

Болотный стебелёк слабо серебрился под звёздами. Парень заметил его и что-то вспомнил. Открыв свой короб, он достал давно засушенный цветок.

– А вот эти вот царские кудри ты знаешь?

– Царские пудри? Ага. Этот цветок для того, чтобы пудрить мозги.

– Нет, – серьёзно сказал Ивашка. – Это царский цветок. . .

– Ну, допустим, царский. И что из этого?

Уловив насмешливую нотку в голосе старика, Подкидыш молча спрятал цветок и зевнул.

– Поспать бы не мешало, да только чёрта с два. От болота тянет, как из погребка. . .

Помолчав, Оруженосец осторожно спросил:

– Уже, поди, жалеешь? Да? О доме, о тёплой русской печке.

«Как будто насквозь меня видит!» – изумился Подкидыш, именно в сию минуту представляя родимый тёплый дом, деда Илью, спящего на печке.

– Переживём! Перекуём мечи на калачи! – пробормотал Ивашка, глубоко вдыхая дух болотной гнили и едва зубами не скрипя, сдерживая стон. Такая тоска вдруг ужалила сердце, так жалко стало всё, что было у него, да не ценилось, а теперь – будто на веки вечные всё это пропало, потонуло где-то там, за чёрными лесами и топкими болотами, по которым шатаются блуждающие огненные демоны.

«Может, зря я не послушал старика? – засыпая, смалодушничал парень. – Работал бы на кузнице, Незабудку взял бы в жёны, ребятишек наковал бы на кровати!»

4

И приснился Подкидышу причудливый сон. Решил он поехать посвататься. Не откладывая дело в долгий ящик – да к тому же пока батька дома дрыхнет – парень украдкой пошёл на кузницу, потихоньку, полегоньку подковал Пегаса, потом ещё где-то раздобыл двух пристяжных лошадок, похожих на пару белоснежных лебедей. Синее утречко было уже на дворе, когда он управился и прямой дорогой – через березовый лесок, через поляну – поскакал-полетел к воротам родного дома. На ходу Ивашка оглянулся и восторженно ахнул: дорога следом за повозкой пламенела, пропечатанная оттисками огненных подков – будто звёзды с неба вперемежку с полумесяцами на пыльный просёлок насыпались... Возле ворот стоял дед Мурава. Курил сигарку. Только странная какая-то сигарка, длинная и толстая сигарка не дымила, а туманила – густой лазоревый туман клубился кругом Ильи Муромца.

– Вот это тройка! – выходя из туманного марева, изумлённо крикнул дед. – А я нутром почуял, с печки слез да вышел посидеть на завалинке. Вот это тройка, Ваня! А что за праздник? Да ты, однако, свататься?

Улыбка тронула усы Подкидыша.

– А как ты угадал?

– Кони шибко нарядные. Только слепой не заметит.

– Свататься, да! – Ивашка сиял от радости. – Сейчас переоденусь, да поеду.

Дед Мурава на несколько секунд пропал в дыме-тумане.

– А в какую степь? – озадаченно спросил из тумана. – Куда поедешь? Где теперь её найти? Златоустку твою.

– Нет! Зачем? – Ивашка отмахнулся от дыма. – Я Незабудку сосватать хочу.

– Да ты что? – Дед Мурава разинул рот – сигарку выронил. – Ушам своим не верю. Неужто поумнел?

– Поумнел. Ага. – Ивашка показал ему на золотые звонкие кольца, сверкающие под дугой. – Помнишь, я тебя спрашивал, кто их связал паутинкой-цепочкой и в комнате моей подвесил? Помнишь? Я сразу догадался – это Незабудка ворожбу какую-то придумала.

– Стало быть, помогла? Ворожба-то.

– Ворожба ворожбою... Ну, да ладно, дед, некогда.

Войдя в избу, Ивашка руки сполоснул после кузницы и начал переболокаться. И вдруг что-то заметил краем глаза – тень промелькнула возле окна во дворе. Подкидыш пригляделся, да так и замер – в майке, в семейных трусах. «А кто это там? Воррагам? А рядом кто? Апора? Вот это братец! Да что же он творит? Он мне палки в колёса вставляет! – Ивашка в одних трусах на крылечко выбежал – хотел Воррагаму и старшему брату по шеям наподдавать. И вдруг остановился – обалдел.

Посредине двора – на свежей навозной куче – царский трон золотом сияет на солнцепёке. А на троне – величественно, важно – Царь-Баба-Яга восседает. Чёрной кривой кочергою тычет в сторону Ивана, хохочет над его семейными трусами в горошек.

– Как денди лондонский одет, он, наконец, увидел свет! Ха-ха. – Кривая кочерга об землю стукнула, да так, что искры полетели над избой и громом прокатился грозный голос: – Свататься надумал? Ах, ты, стервец! А кто обещал на мне жениться?

Обливаясь холодным потом, Подкидыш проснулся.

Тихая летняя ночь по-над землёю звёзды раскрошила. Половинка луны в облаках – словно подкова, не докованная кузнецом – остывала на гребне далёкой горы-наковальни. Из болот и лугов доносило пахучими травами, на которых уже появилась окалина первой росы.

Тягучие туманы выползали из-за кочек, из-за кустов, дышали сыростью. Где-то кричал коростель, словно скрипело перо какого-то ночного сочинителя. А может быть, это скрипит земная ось – идёт неумолимое и вечное круговращение земного шара, о котором недавно так складно рассказывал старик Азбуковедыч. Свершается вращение с запада на восток – всё ближе, ближе к рассвету, который, правда, ещё далеко; на востоке даже нет намёка на предрассветную синьку. Это хорошо, можно ещё поспать, родных во сне увидеть.

Глава четвёртая. Земля горит желанием

1

И наконец-то пришло долгожданное утречко – болотные пугающие демоны разлетелись. Воздух, вчера казавшийся прогорклым, тухловатым, теперь насыщен был наисвежайшими и головокружительными запахами. Камыши из тумана выныривали – тонкие стрелы с бурым оперением точно сами собою втыкались в болотистый берег. Осока проступала, ряска. Белые лилии – будто остатки снега – так ярко и так странно сияли в чёрной болотной воде и в грязи. Впрочем, кое-где вода и грязь были красноватые – словно от зари, разгоравшейся над болотом. А на самом-то деле красноватый цвет воды и грязи красноречиво говорил о присутствии железной руды; так утверждают господа материалисты, сказал многоопытный старик-оруженосец.

Солнцевсход, разгораясь, выжигал туман по-над болотом. Ржавые лужи, подёрнутые тонюсенькими плёнками, отражая ослепительный свет, вспыхивали железно-синеватым бельмастым блеском. Водяные пауки по этим лужам взад и вперёд пробегали на дугообразных длинных лапках. Ещё совсем недавно это болото – при свете звёзд и месяца, при освещении блуждающими огоньками – казалось таким жутким, таким коварным. И вот – при свете нарождавшегося дня – всё тут стало выглядеть прозаично просто и даже скучно. Вместо лягушки-царевны – то там, то сям квакали и прыгали под ногами обыкновенные жабы, лупоглазые, гадкие, те самые, от которых бородавки на руках появляются, если верить деревенским знахарям.

Рискуя провалиться в чарусу, – бездонную болотную кашу – Оруженосец кое-как отыскал узкий выход из проклятой западни, где под ногами постоянно «дышит почва и судьба». И вскоре вся эта мерзопакость осталась позади. Дальше идти стало проще, хотя кругом была сплошная неудобница – кочки топорщились, кочки, будто буйные головы, поросшие зелёными и давно не стриженными лохмами. И всё ещё давали себя знать близко под землёй бегущие ключи, поросшие кустами краснотала. И там и тут встречался в ямах студенец – ледяною водичей кипящий родник. И всё это излишество подземной влаги пришлось по душе болотному разнотравью – тут разрасталась черемица, жирели пупавки, трилистник. Но под ноги всё чаще, всё ближе подступал надёжный твердый грунт. И вот уже зелёными коврами впереди – среди берёз и кедров – заколыхались на ветру свежие цветущие луга, на которых вызревает бесчисленная россыпь земляники, костяники, и тут же можно встретить дробины жутковатой ядовики – ядовитой ягоды чёрно-фиолетового цвета.

– Ну, вот! – Абра-Кадабрыч приободрился, поправляя на плече золотой карабин. – Я не Сусанин, но я с усами! Как видишь, выбрались!

– Слава тебе, господи, – пробормотал Подкидыш. – А я струхнул маленько...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.